

[Аўтабіяграфія 1935 году]

I

Тот, кто прочтёт терпеливо и внимательно эту рукопись, должен увидеть и её автора, и тех, и то, что видел и знал автор такими, какими они были и есть. Может быть, здесь много ненужных и лишних подробностей, может быть, много шероховатостей черновика – это ведь и черновик и беловик сразу: время не терпит, и настоящий момент для автора с железной необходимостью и окончательно настаивает высказываться до конца. Но, во всяком случае, нет здесь ни одного слова неправды и никакой утайки.

Хотя зачем оговорки – пусть написанное говорит само за себя.

Я родился в 1909 году, в 1930 году арестован и сослан (на 21 году жизни), сейчас мне 26 лет. Пора посмотреть и провентилировать себя окончательно.

Мои родители – обыкновенные мещане: отец – канцелярский счётный работник с детского почти возраста и по настоящее время. До войны работал в финансовом ведомстве – «казначействе» и «казённой палате» низшим служащим, начиная от переписчика и кончая канцеляристом. Особенно высоко по служебной лестнице не поднялся и только при советской власти быстро пошёл по своей линии вверх – стал помощником бухгалтера, бухгалтером, бухгалтером-консультантом, работая в разных советских финансовых учреждениях от Наркомфина вначале и до Сельхозбанка в настоящее время. При советской же власти осуществил и свою заветную мечту – получил среднее образование (работая, учился и окончил Педтехникум) и пробовал получить высшее заочно-очным путём, но в этом году бросил, не дотянув из-за перегруженности по работе.

Мать – обыкновенная домашняя хозяйка.

Я – единственный сын своих родителей со всеми вытекающими отсюда особенностями и качествами. Естественно, что единственной мыслью родителей было выучить меня, сделать из меня «человека». Поэтому в 1918 году я был определён в приготовительный класс Минской казённой гимназии. К великой радости моих родителей, вскоре, благодаря успехам в учёбе, я был освобождён от уплаты за право учёния, облегчив этим их всегда, как помню я, напряжённый бюджет.

Но ведь мне посчастливило родиться и расти в то время, когда было не до учёбы, когда заново перекраивались и жизнь, и географическая карта. Начав учиться при немецкой оккупации, продолжив при кратковременно установившейся советской власти, я в следующий класс перешёл уже при польской оккупации, и оказалось, что поляки не были никакие не заинтересованы ни в моей учёбе, ни даже в существовании моём и моих родителей. Отец, как не знающий польского языка, так и не получил никакой работы за всё время их царствования, и мы кое-как перебивались на средства, вырученные от продажи домашней обстановки и вещей домашнего обихода. Меня тоже новые властители не оценили, я не был освобождён от платы за учение и должен был просидеть дома без учёбы всю эту «польскую» зиму. Незачем говорить, какие чувства к себе воспитали у меня эти белополяки. И впоследствии я всё время думал, что это недоброе чувство к ним страхует меня от каких бы то ни было уклонов в ту сторону. Однако позже, на деле и объективно оказалось... Но не буду забегать вперёд, об этом на своём месте.

Антипатии к полякам толкнули меня ещё мальчиком в сторону национального белорусского движения, привлёкшего меня к себе именно с этой, оппозиционной польскому, стороны. Этому моему сближению с белорусским движением способствовало и влияние приехавшего тогда к нам моего двоюродного брата (со стороны матери), нынешнего артиста 1-го Белгостеатра Гэнриха Грыгониса. Посещая вместе с ним любительские белорусские спектакли, в которых он участвовал, я в первый раз осознал себя (если только можно говорить об осознании чего бы там ни было десятилетним мальчиком) белорусом.

Таким встретил я и снова возвратившуюся, радостно встреченную всеми, советскую власть. Как жаль, что я встретил её именно таким! Как жаль, что не нашлось в то время, не подвернулось такого человека, который бы уже тогда зарядил меня так сильно не узко-национальным, белорусским, а тем, что я встречал теперь, не понимая вполне его действительной сущности, его исторической роли и широты открываемых им горизонтов! Правда, и при поляках я тайком читал найденную где-то «Азбуку коммунизма», запрятывая её подальше при каждом подозрительном стуке. Но это тогда привлекало меня только с чисто романтической стороны, со стороны чисто детского любопытства, к запрещённому и страшному, как чтение запрещённой, страшной большевистской книжки, за которое я могу поплатиться. Однако ничего или почти ничего, кроме этого, я из этой книжки не вынес и она не оказала на меня такого определяющего влияния, как белорусское движение. Советскую власть

я встретил прежде всего как власть белорусскую, власть, создавшую белорусское государство – БССР, сделавшую белорусский язык государственным, начавшую развивать белорусскую культуру, науку, искусство.

Я беспрепятственно продолжал свою учёбу уже на белорусском, осознаваемом теперь, как мой родной, языке, успешно закончил семилетку (десятилеток в БССР тогда не было), Белпедтехникум, Белгосуниверситет, учась всё время без пересидки.

Да, всё, всё мне, как и моему отцу, дала советская власть и всё-таки... Но опять по порядку...

Учёба в семилетке ничем не примечательна, особенno принимая во внимание мой детский ёщё тогда возраст, поэтому я на ней останавливаться не буду.

Зато безусловно необходимо остановиться на Белпедтехникуме. В одной из своих литературных работ (между прочим, как раз в наиболее националистической работе «Паўлюк Трус») я характеризовал Белпедтехникум того времени как кузницу белорусских литературных кадров. Однако такая характеристика, по сути дела, являлась узкой и не договаривающей до конца. Гораздо правильнее, шире и точнее было бы характеризовать это учебное заведение, в котором учился и воспитывался в продолжение четырёх лет и я, кузницей националистических кадров. Белорусских литераторов из Белпедтехникума вышло, в конце концов, не так уж много, зато националистами, сознательными или бессознательными, но фактическими, можно смело сказать, выходили все или почти все, за малым исключением, в те годы.

Да и неудивительно было выйти националистом из техникума, носившего имя Ўсевалада Ігнатоўскага (главы националистического движения, разоблачённого позже как агента дефензивы польской) и имевшего среди своих преподавателей таких матёрых национал-демократов, как Язэп Лёсік, Міхайла Грамыка, Васілевіч (бывший директор при моём поступлении в техникум), Бялькевіч (бывший белорусский эсер) и нацдемов маркой пониже, как Піятуховіч, Кругалевіч и другие. На уроках языка нам говорилось, что белорусский язык – самый древний, самый чистый и благозвучный, что Белоруссия вполне может существовать как самостоятельное географическое, экономическое и государственное целое, на уроках истории в печальных красках рисовалось прошлое страны, всячески угнетавшейся её соседями и с запада и, особенно, с востока, и яркими красками рисовалось счастливое будущее самостоятельной, независимой («незалежной») Белоруссии. На уроках литературы показывалось славное прошлое белорусской письменности,

появившейся раньше, чем у восточных соседей и в рукописном и в печатном виде (известный нацдемовский «святой», пионер книгопечатания Франциск Скарына), а также рисовались богатейшие перспективы литературного будущего, в котором белорусская литература необходимо должна стать выше всех почти существующих и существовавших литератур (равно как преувеличивалось и раздувалось бедное, по сути дела, в литературном отношении белорусское литературное «возрождение» – «адраджэнне», «нашаніўства»). Да и как иначе мог вести преподавание создатель многочисленных нацдемовских грамматик Язэп Лёсік, как иначе могли трактовать вопросы истории учебники Ігнатоўскага или вопросы истории литературы учебники Максіма Гарэцкага Ясно поэтому, какое воспитание получали и получили все мы, студенты Белгедтехникума, которых сам Лёсік как-то назвал «будущими апостолами белорусского дела». И «апостолы», конечно, в большинстве случаев выходили вполне достойными своих «вероучителей». Это было тем более так, что в то время, когда ни на страницах печати, ни изустно не разоблачалось такое направление и «воспитание», никто не открывал прямо глаза молодёжи на истинную сущность всех этих проповедей, и поэтому никто из нас не подозревал даже антисоветского или контрреволюционного их характера: для многих из нас это «белорусское» отождествлялось с советским и революционным, так же как и советская власть с самого начала была воспринята нами как власть прежде всего белорусская, на что я уже указывал выше. Разоблачение национал-демократизма началось гораздо позже, когда он уже успел проникнуть во всю нашу плоть и глубоко в нас засесть.

Учёба моя в Белиедтехникуме совпала и с оживлением белорусского молодёжного литературного движения, связанного с образованием и широким распространением массовой литературной молодёжной организации «Маладняк». Мои однокурсники и ближайшие в личном отношении друзья – Кааратай (литературный псевдоним Максім Лужанін), Глебка, Серада (псевдоним Сяргей Дарожны – работает и теперь в белорусской литературе), Казлоўскі – и другие начали писать стихи и в скором времени стали «маладнякоўцамі». Я, однако, всё ещё не осмеливался выступать на литературной арене, хотя и имел уже определённо сложившиеся стремления к этому и был неоднократно поощряем этими своими друзьями. Только дальнейший ход событий выдвинул и меня на литературное поприще.

В верхушке «Маладняка» начало назревать особое течение, возглавляемое поэтами Ўладзімерам Дубоўкам и Язэпам Пушчам,

прозаиком Кузьмой Чорным и критиком Адамам Бабарэкам, приведшее к позднейшему расколу этой организации и выделению из неё новой литературной группы «Узышина», ставшей издавать журнал того же наименования.

Новое течение выкристаллизовалось, с одной стороны, своей оппозицией к старым, ещё «домолодняковским» и дореволюционным писателям-«возрожденцам» («адраджэнцам», «напаніўцам») и, с другой стороны, ещё более резкой оппозицией к большинству, массе самого «молодняка». Первая оппозиция была характерна и для самого «Маладняка» и даже определяла его с самого его зарождения; «молодняк» отталкивался от «старых», как от нынешних в провинциальной, крестьянской ограниченности непролетарских писателей. Однако в новом течении эта оппозиция приняла и более подчёркнутый и совершенно иной характер: «старые» писатели преследовались как неквалифицированная сила, не сумевшая держать знамя белорусской литературы на высоте, на «узышины» (на этом, например, было заострено выступление «молодняковца» ещё Дубоўкі против народного поэта Якуба Коласа на юбилее другого народного поэта Янкі Купалы). Тот же самый мотив выдвигался и против «молодняковского» большинства, снидавшего, по мнению нового течения, поэзию до злободневности, растворявшую её в неквалифицированной массе «молодняковцев», не сумевшей создать настоящей, большой литературы, которую могут создать только отдельные, квалифицированные, одарённые и поставленные в благоприятные условия, занимающиеся только литературой, индивидуумы. Этот же лейтмотив был выдвинут в декларации нового течения, оформленного в мае 1926 года уже как литературное объединение «Узышина»: создать такую литературу, которая была бы «высотою» («узышинам»), которую могли бы увидеть «века и народы» (слова декларации). Ясно, что такое стремление поставить свою литературу выше всех других литератур было ничем иным, как явным национализмом или, даже точнее, шовинизмом (во всяком случае, стремлением явно шовинистическим). Правда, эта литература, за создание которой ратовало новое течение, называлась им пролетарской литературой, но не просто пролетарской, а именно белорусской пролетарской литературой, ясно, что выше всего здесь намерены были ставить именно белорусское. Ясно также и то, что такое стремление было вполне в плане и в духе того националистического воспитания, которое получали и я, и другие в Белпедтехникуме.

Неудивительно поэтому, что к новому течению примкнули сразу же и мои однокурсники – «молодняковцы» Лужанін, Глебка и

Дарожны. Неудивительно, что и я сам стал самым горячим его адептом. А так как новое течение искало своих сторонников в массах и нуждалось в пропаганде, то на меня и обратили внимание прежде всего эти мои друзья-«узвышэнцы». Я же, будучи в то время председателем литературного кружка техникума (между прочим, самого массового из всех кружков техникума), превратил его в трибуну пропаганды как своих друзей, так и нравившегося мне литературного течения. Присматриваясь ко мне, мои друзья, а через них и сами «лидеры» течения (с которыми лично в то время я ещё не был знаком) всё больше стали поощрять меня к моему выступлению на литературной арене в качестве критика (в этом роде литературного орудия особо нуждалась новая организация в процессе своего становления и борьбы как направо – со «стариками», так и налево – с «молодняковцами»). Друзья перезнакомили меня с «лидерами» – Бабарэкам, Пушчам, Чорным и другими и, наконец, с самим Дубоўкам, жившим в Москве и только изредка наезжавшим в Минск. Последний в своей надписи на подаренном мне экземпляре вышедшего тогда его сборника «Наля» выразил мне «ножелание выступить перед общественностью со своими работами». И я, конечно, не заставил себя долго ждать, тем более, так поощрённый любимым тогда мною поэтом – кумиром для многих из нас.

Первую свою рецензию я написал на сборник одного из «молодняковцев» – Валерия Маракова – «Пялесткі» («Лепестки»). В ней я обвинял этого поэта в идеологической невыдержанности и упадничестве. Рецензия была встречена лидерами холодновато и напечатана не в журнале «Узвышша», а в литературном приложении к крестьянской газете «Беларуская вёска» («Белорусская деревня»), и потом друзья передавали мне слова Кузьмы Чорнага о том, что это, мол, рецензия ещё не «узвышэнская», а чисто «маладнякоўская», но что надо напечатать – поддержать парня (т.е. меня). Вспоминая историю этого первого своего выступления на литературном поприще, сейчас приходится только пожалеть, что это здоровое, в основном, начало не нашло у меня потом себе продолжения и что дальнейшая моя деятельность пошла по совсем другому, искривлённому пути.

Вскоре после моего дебюта тот же Кузьма Чорны предложил мне заняться творчеством писателя Максима Гарэцкага – одного из первых белорусских прозаиков и одновременно историка литературы и критика, забытого и оставшегося в тени белорусской критики. Так как этот писатель был также и одним из любимых моих авторов, я начал собирать материалы, и с начала 1928 года в шести номерах журнала «Узвышша» была напечатана монография «Максім Гарэцкі», самая большая литературная моя работа.

В мае того же 1928 года я был принят в члены литературного объединения «Узышиша» на годовом юбилейном традиционном собрании этого объединения. С этого момента официально и начинается новая, «узышэнская», глава моей жизни, из которой, главным образом, и проис текают все «качества» моего дальнейшего бытия.

II

Остановлюсь вкратце на критике первой моей литературной работы, прочно приведшей меня в ряды «Узышиша», – монографии «Максім Гарэцкі».

Основными установками этой моей работы были:

1) доказать, что белорусская литература – это уже не младенческая литература одних только стихов, а и литература, имеющая сильный зародыш жанра зрелой литературы – прозы в лице такого крупного, по-моему, прозаика, как Максім Гарэцкі (на самом деле, впрочем, довольно средней величины писателя);

2) выставить особой заслугой и примером, образцом создание Гарэцкім «типа эпохи» – типа белорусского интеллигента из крестьян, националиста и мистика эпохи белорусского возрождения, проходящего через всё творчество писателя;

3) всячески оправдать и замазать националистические, мистические и вообще реакционные моменты в произведениях писателя, равно как и художественную их неполноту (ввиду чего в работе вовсе не был дан анализ формально-художественной стороны творчества Гарэцкага, он был отложен и обещан в следующих моих работах да так и остался, и намеренно остался, невыполненным).

Должен заметить, что ни одна из этих установок не была вскрыта с достаточной ясностью в критике этой моей работы, сделанной Куніцкім в статье «Крытычныя артыкулы Антося Адамовіча», напечатанной в журнале «Полымя», №2 за 1931 год (уже во время моей ссылки). Главный огонь критик направил против метода моей работы, который он характеризовал как метод субъективно-идеалистический (очевидно потому, что сам я недавно, притом весьма поверхностно, знакомился с этим буржуазным философским течением). На самом деле, метод моей работы был типичным культурно-историческим методом, воспринятым мною от моих учителей, как техникумовских (проф. Піятуховіч, учебник того же Максіма Гарэцкага), так и университетских (акад. Замоцін). Метод этот, допускающий свободу исторических концепций и

толкований, как нельзя более соответствовал задачам националистического литературоведения и был его излюбленным методом. Однако уже я сам, ещё на свободе, в Минске, неоднократно признавал примитивность этого метода. На эту же примитивность указывали мне и мои товарищи по объединению, в частности Адам Бабарэка. Но это уже специально-литературоведческие вопросы, углубляться в которые здесь нет необходимости.

В связи с этой моей работой скажу несколько слов о личности самого Максима Гарэцкага, с которым я познакомился при собирании материалов для своей работы. Должен сказать, что для меня он и по сей день остаётся самым тёмным и непонятным из всех моих знакомых. Уже при моём знакомстве с ним я встретил неожиданную для меня, особенно тогда, оценку ошибочности своего творчества и мировоззрения дооктябрьского периода. Он даже не советовал мне начинать работу о нём и поднимать его на щит. Правда, я не считал его искренним в этом вопросе, так как знал, что в это же самое время он ходатайствовал за сидевшего тогда, сосланного позже на Соловки и обмененного поляками белорусского писателя Аляхновича, оказавшегося агентом польской дефензивы. То обстоятельство, что этот факт Гарэцкі от меня скрывал и я знал его со стороны, убеждало меня лишний раз в том, что он со мною не искренен. Такое же впечатление осталось у меня и от всех последующих встреч с ним, включая и последний год жизни в Кирове. Такими же неискренними казались мне и его самоосуждения и уговоры, чтобы я также осудил всю свою бывшую деятельность.

Между прочим, в Кирове Гарэцкі давал мне читать в рукописи и часть своего произведения «Виленские коммунары», написанного им на русском языке и посылавшегося в журнал «Новый мир». Показывал он мне также и отзыв об этом произведении литературного консультанта «Нового мира», предлагавшего переработать произведение ввиду его художественной неполноценности. В читанном мною отрывке хотя и было разоблачение виленских белорусских националистов и некоторые сильные моменты, но всё же литературный консультант «Нового мира» был прав...

Так я и расстался с этим человеком, не разгадав его вполне. При отъезде из Кирова он одолжил у меня денег на дорогу (я как раз тогда выиграл 125 руб. по займу «Второго года второй пятилетки»), и больше с ним никакой связи и переписки я не имею, знаю только, что живёт он в м.Песочня Западной области, где преподает литературу в десятилетке.

Но вернусь снова к «Узышишу». Когда началось печатание моей монографии, я ещё до моего принятия в члены организации стал

завсегдатаем и на квартире у Адама Бабарэкі (жившего как раз напротив меня), и на «узвышэнскіх» собраниях, бывших обыкновенно по четвергам в доме писателей – «Узвышанская чацвяргі». «Четверги» проходили обыкновенно хаотично. Хотя всегда и ставилась какая-нибудь тема на обсуждение, от неё быстро отклонялись в разные стороны, и фактически получалась беседа обо всём и ни о чём. Такую способность уклоняться куда угодно и увлекаться чем угодно в наибольшей степени имел Адам Бабарэка, а так как он являлся главным критиком и редактором журнала, то это накладывало свой отпечаток и на всё. Кроме того, Адам Бабарэка обладал ещё затруднённой речью (недаром нашими противниками он был прозван «Гераклитом тёмным»), причём в устной беседе эта затруднённость иногда доходила до предела (в письменных его работах, подвергающихся обработке, она, естественно, ме́ньше). После Адама Бабарэкі наиболее увлекающимся был покойный Уладзімер Жылка, всегда охотно уклонявшийся в разные стороны от темы разговора и имевший для этого богатейшие возможности (он был большим эрудитом, знатоком языков, образование получил в Пражском университете). Это была, так сказать, романтически-увлекающаяся линия в «Узвышши».

Другую линию возглавлял Язэн Пушча (Плашчынскі). Это была линия насмешливо-ироническая, причём характер иронии очень часто был чисто беспринципным. К этой линии примыкали Зымітрок Бядуля и Крапіва, хотя последнего можно отнести больше к молчащему и слушающему, чем говорящему и действующему, «центру», куда надо причислить и Кузьму Чорнага (прозываемого за глаза «ходячим гонораром» из-за некоторого преклонения перед деньгами) и сатирика Мрыя, а из молодых – Глебку. Остальные молодые мои друзья по техникуму, как и я сам, ближе подходили к романтически-увлекающейся первой линии.

Но был один человек, который стоял выше этих линий, соединяя их в себе и собою, владея ими и всем у нас, хотя чаще всего и отсутствуя лично. Это был Уладзімер Дубоўка, фактический организатор и главарь «Узвышши», хотя формально председателем у нас являлся молчаливый «ходячий гонорар» Кузьма Чорны, а Дубоўка большей частью жил в Москве. Обладающий удивительной способностью влиять, властвовать, повелевать и уговаривать, тонкой политической проницательностью и тактом, появлялся из Москвы тогда, когда увлекающаяся часть слишком далеко забиралась в лебри идеализма или заоблачные высоты, либо иронизирующая часть подвергала иронии слишком неподходящие для этого предметы, наводил порядок и исчезал опять. Лично я ближе всех стоял всё

время к Адаму Бабарэку. Нашему сближению способствовал не только тот внешний факт, что наши квартиры были расположены через улицу друг от друга, или то обстоятельство, что оба мы работали в одном жанре критики, но в особенности та мягкость характера Адама, благодаря которой он всегда во всём соглашался со мною, вёл себя со мной, как равный, а не как какой-нибудь распорядитель, руководитель или учитель, наставник. Немало сближала нас и общая нам способность увлекаться, отвлекаться и романтизировать. С Дубоўкам, напротив, у меня не было такой близости, я чувствовал себя перед ним всегда мальчиком, да так им и использовался вплоть до самых мелких посылок не только в типографию или на почту с ссылкой журнала, но и даже за пивом или извозчиком. Чувствуя к нему большую любовь как к наиболее сильно действующему на меня поэту, я в то же время испытывал неприязненное чувство к нему как к человеку, нередко третирующему меня за мою, проявляющуюся иногда, молодую неопытность и свойственную моему характеру (как, впрочем, и Адаму Бабарэку, в чём онять у нас было сближающее совпадение) медлительность.

С другими членами организации у меня были довольно далёкие отношения, причём с течением времени постепенно отделились от меня и введшие меня в «Узвышша» мои друзья-однокурсники по техникуму Лужанин, Глебка и Дарожны. Но об этом в своём месте.

Носили ли узвишэнские собрания и беседы откровенно контрреволюционный или националистический характер? Конечно, нет. Но справедливость требует признать, что подлинный дух их и особенно некоторые моменты, особенно с сегодняшней точки зрения, были такими. Прежде всего, здесь, конечно, господствовал явно националистический с сегодняшней точки зрения основной принцип «Узвышша» – создать литературу, которая была бы выше всех других (и, конечно, русской в частности). Отсюда – романтически увлекающаяся часть объединения поднимала на щит всякие талантливо сделанные произведения, хотя бы в них проявлялись и вредные идеологические тенденции, на которые в таких случаях просто закрывались глаза, не обращалось внимание (так было в отношении таких произведений, как «Лісты да сабакі» Язэпа Пушчи, «І пурпурowych ветразей узвівvy», «Штурмуйце будучыні аванпосты» Ул.Дубоўкі, «Запіскі Самсона Самасуя» А.Мрыя и др.). Особенно в этом повинен был глава «романтиков» Адам Бабарэка, а за ним, конечно, и я. С другой стороны, «иронизирующая» часть всячески высмеивала и охаивала произведения русской пролетарской литературы, как никудышные, бездарные и печатаемые только лишь потому, что они русские (так часто иронизировал главный

«иронизатор» Яээн Пушча, избирающий своей мишенью творчество Безыменского, Жарова, Панфёрова и др.).

Не были лишены наши беседы иногда и прямых высказываний и жалоб на стеснённость нашу в цензурном отношении, не позволявшую нам давать развернутый отпор нашим критикам, большей частью из лагеря бывших «узвышэнскіх» соратников, оставшихся верных «Маладняку». Часто тот же Пушча, а также Бядуля, да и Бабарэка говорили, что вот, мол, нас, более талантливую и передовую часть национальной литературы, ограничивают в этом, давая возможность написать врагам возводить на нас разные напраслины, в то время как настоящую литературу делаем как раз мы, а не они. Однако никогда это не расценивалось как враждебная нам линия партии, а всегда объяснялось происками наших литературных врагов, использующих против нас свои личные связи и заручки. Никто никогда прямо не высказывался против партийного руководства, наш национализм никем из нас не осознавался (по крайней мере, мною он не осознавался, а другими такое осознание никогда не высказывалось). Однако советская власть и партийное руководство признавались своими только постольку, поскольку они позволяли нам и не мешали работать над развитием и возвышением («на ўзвышы» – выше всех) нашей национальной литературы, а отнюдь не потому, что под этим руководством мы должны были стремиться к сближению с другими народами Советского Союза и, в первую очередь, с русским народом, создавшим советскую власть, совершившим Великую Октябрьскую революцию. Наоборот, если бы последняя проблема и встала или была поставлена перед нами, то она, я в этом уверен, была бы встречена нами, при фактической нашей тогдашней националистической настроенности, безусловно враждебно. Ведь фактически наша работа шла в очень большой степени по линии искусственного отчуждения от соседних национальностей и, в особенности, от русской. Сюда, главным образом, относится та работа по так называемой «культуре речи», которую «Узвышша» особенно ставило себе в заслугу и в которой мы старались всячески заменить всякие, совпадающие с русским, слова или обороты оригинальными белорусскими, хотя бы и мёртвыми – искусственными архаизмами. В этой области немало потрудился и я – как при выполнении стилистической редакции тех или иных материалов журнала, поручаемой мне часто Бабарекой, так и при переводах и в исторических заметках, помещаемых мной в отделе «Культура мовы».

Белоруссия рассматривалась нами как вполне самостоятельная часть Советского Союза, имевшая мало общего с остальными его частями и связанная с ними только

вхождением в один союз. Из этих частей ведущая РСФСР считалась хотя и новой Россией, но всё же Россией, т.е. наследницей старого угнетателя и врага Белоруссии. Отсюда и явно националистическое высказывание Пушки в письме к своей «собаке»: *Вартуй, вартуй свой родны ганак, пішу аб гэтым я табе з Расіі*. Характерно, что даже критика, обрушившаяся в своё время на эти «лісты» Пушки, усматривая в них проявление кулацкой контрреволюции, прошла совершенно мимо этих явно националистических строк, даже не отметив их. И надо сказать, что мы все, следя советам Пушки его собаке, всегда настороженно относились ко всему русскому.

Да и неудивительно, что собрания наши носили националистический характер, таков ведь был и характер произведений наших писателей. Достаточно назвать хотя бы наделавшую много шума поэму Дубоўкі «І пуріуровых ветразей узвіві», где он, вопреки ленинской теории учёбы у буржуазных и дворянских классиков, выдвигал свою теорию учёбы у реакционных элементов народного творчества, мотивируя это тем, что, мол, классику создавали буржуазия и дворянство, чуждые к тому же нам национально, тогда как народное творчество создавалось нашими же трудящимися. И мне, по крайней мере, казалось, что Дубоўка здесь прав и притом гораздо левее и революционнее Ленина и что напрасно его здесь не понимают и третируют за расхождение с Лениным, который, может быть, если бы был жив и ознакомился с белорусским народным творчеством, сам бы додумался до того, до чего додумался наш Дубоўка... Только позже, уже в ссылке, читая самого Ленина, я убедился, вспоминая этот случай, в справедливости как тех разоблачений крайней «левизны» и революционности, всегда оказывающихся на деле простой реакционностью, так и того анализа понятия «народ», включающего в себя не только трудящихся, но и буржуазию, которые были даны великим вождём пролетариата.

В этой же поэме Дубоўкі, являющейся, к слову сказать, как раз тем поворотным пунктом, начиная с которого «Узвышша» начало катиться вниз, впервые более ярко проявились и систематизировались те нотки недовольства партийным руководством, державшим большую сторону наших литературных врагов, о которых я упоминал выше, чем нашу сторону. В образе одного из героев поэмы – *Математика*, изображённого тупым и недалёким резонёром и схематиком, как раз выводилось партийное руководство. Это сразу же заметила и вскрыла враждебная нам критика. Мы были несколько смущены и шокированы этим и по отмеченной уже мною тенденции оправдывать всякое, лишь бы только хорошо сделанное, достойное художественного «узвышша», произведение писателей нашего объединения, старались найти другое,

безобидное толкование этого образа (особенно трудился над этим Адам Бабарэка). Но в душе каждый из нас думал: так им и надо, зачем они поддерживают не нас, создателей настоящей литературы, а бездарных наших противников.

Одновременно с этим литературным проявлением нашего недовольства партийным руководством чаще стали проявляться нотки его и на наших собраниях-беседах. На одном из них как-то, к слову сказать, Крапіва (Атраховіч) прочёл одно из своих стихотворений, не предназначенных для печати. Темой этого стихотворения послужили партийные уклоны, борьба с которыми развёртывалась в то время. Развёртывалась эта тема в разговоре двух крестьян, один из которых замечает другому, что у его кобылы «уклоны» — хвост уклонился влево, а грива — вправо, на что последний возражает, что это, мол, хорошо, так как, если бы не эти «уклоны», не было бы видно и самого «центра». Таким образом здесь виoline в духе антисоветских анекдотов «с перцем» высмеивалась борьба партии с уклонами от генеральной линии, причём сама генеральная линия помещалась в «центр» под хвостом кобылы. Для настроения всех нас особенно характерно то, что никто из нас не оборвал тогда и не призвал к порядку нашего зарвавшегося сатирика, а все ещё смеялись и признавали «перец» весьма удачным. Мало того, мой упоминавшийся уже друг и однокурсник Максім Лужанін заучил эту басню наизусть и стал распространять её при помощи студентки техникума, за которой он в то время ухаживал. Студентку эту разоблачили за такой работой, и за дело взялось было уже само ГПУ. Пришлось опять срочно явиться в Минск самому Дубоўку расхлёбывать кашу. И он расхлебал её быстро: одного виновного, Лужаніна, направил к случайно находившемуся тогда в Минске моему однодомашнему Язэпу Адамовічу, бывшему Предсовнаркома БССР, симпатизировавшему «Узыышшу», с просьбой о заступничестве. Тот, используя свои личные связи, отвратил от нас беду. Другой же виновный, сам автор злополучной басни, должен был написать к ней вступление и концовку, идеологически выдержаные и несколько нейтрализующие остроту «перца», и дать соответствующие объяснения ГПУ.

Однако, надо сказать, это был уже не первый случай, только он благодаря неосторожности Лужаніна, за которую ему немало влетело от нашего «бацькі» Дубоўкі, стал более широко известным. Мне вспоминается ещё один подобный факт в том же плане. Как-то раз тот же Крапіва зачитал и более длинную басню о тех же уклонах, где шёл разговор отца с сыном. Сын нёс мешок на спине через узенький мостик, отец шёл сзади порожняком и, боясь, чтобы сын не потерял равновесия, командовал ему поправлять мешок то

вправо, то влево. В результате этих манипуляций сын как раз и упал с мешком в воду. Здесь уже проводилась более «глубокая» идея: как бы партия в своей борьбе с уклонами справа и слева не потеряла равновесия и не упала с мешком в воду. Это стихотворение также не получило отпора у нас, но так как никто его из «Узышиша» не вынес (оно было длиннее первого и потому труднее запоминалось), то оно и осталось, вероятно, вплоть до этих моих заметок, неизвестным.

В обоих случаях проявилось ничто иное, как сочувствие к таким же «гонимым», как и мы, уклонистам, имевшее нередко место в то время и в наших беседах. Особенно такой сочувственный тон носили рассказы приезжавших из Москвы Дубоюкі и вошедшего к тому времени в «Узышиша» первого и единственного коммуниста Фэлікса Купцэвіча, наблюдавших в Москве борьбу с уклонами более близко, чем мы. Объективно же это было ничем иным, как идеологической смычкой с оппозиционными партий элементами.

В таких обстоятельствах «узвышэнской» жизни появилась вторая из больших по величине моих работ – статья- некролог «Паўлюк Трус». Она была посвящена жизни и творчеству безвременно умершего от тифа поэта, с которым мы были дружны ещё по техникуму. Поэт этот сначала вышел было вместе с другими «узвышэнцамі» из «Маладняка», потом вернулся туда обратно, потом опять подал заявление в «Узышиша» и опять забрал его, под конец жизни опять выразил желание быть в «Узышиши», одним словом, всё время колебался между «Узышишам» и «Маладняком». Задачей моей работы было показать, что Трус и по творчеству, и по личным стремлениям близко подходил к нам. Таким образом, уже сама установка очерка имела целью некоторое полемическое нападение на «Маладняк». Показать, что Трус по существу был нашим, было важно особенно потому, что тогдашний секретарь ЦК КП(б)Б тов. Гамарнік на одном из съездов КП(б)Б высоко оценил, процитировал и поставил в пример одну из последних поэм Труса «Дзясяты падмурак» (поэму, посвящённую десятилетию БССР). В реализации своей задачи я использовал личную переписку с покойным, и главное, во-первых, выявит сильный в его творчестве узко-националистический элемент, а во-вторых, грубо спародировал высказывание представителя ЦК КП(б)Б на похоронах поэта (правда, здесь я был ложно информирован поэтом Пятром Глебкам). На похоронах я сам не был, не будучи в то время в Минске, и думал, что спародированные мною слова принадлежали представителю враждебной нам организации «Маладняк», а не ЦК КП(б)Б; это, конечно, ничуть не уменьшает значения допущенного мною выпада и нимало не извиняет меня: ведь и зная о принадлежности этих слов, при той обстановке недовольства

партийным руководством, которая была у нас в «Узвышы», я вполне мог бы допустить такой выпад, разве только что не в такой резкой форме, в какой я это сделал.

Эта моя работа, естественно, вызвала целую бурю негодования как со стороны «Маладняка», так и со стороны всей советской и партийной общественности. Однако, на специальном диспуте, направленном против моей работы, я, хотя и признал некоторую ошибочность своего выступления (особенно в части моего выпада против представителя ЦК КП(б)Б), всё же больше старался оправдаться и всячески выпутаться, что, конечно, не могло удовлетворить возмущённую общественность. Так как к этому времени за «Узвышам» числилось уже немалое число выступлений, подобных моей работе («Лісты да сабакі» Я.Пушчы, «І пургувовых ветразей узвіві» Ул.Дубоўкі, а также и другие его стихи и статьи; статьи К.Чорнага, Ф.Кунцэвіча, «Случчына» М.Лужаніна, стихи Т.Кляшторнага и др.), то она, собственно говоря, и явилась каплей, переполнившей чашу и заставившей общественность и партийное руководство требовать от «Узвыша» пересмотра своих позиций. Такое требование было тем более законным, что в это время партией начинала проводиться коллективизация сельского хозяйства, и, в связи с ней, развернулась ожесточённая классовая борьба в деревне; с другой стороны, наблюдавшаяся активизация националистических элементов (дело украинского СВУ, например) поставила вопрос о белорусском национал-демократизме, в сторону которого, естественно, гнул и национализм «Узвыша» и мой национализм, в частности, особенно ярко выраженный в этой моей статье.

Интересно, как встретило «Узвыша» борьбу с национал-демократизмом. Большинство из нас думало, что это нас вовсе не касается: огонь направлен против тех «старых зубров» из белорусских деятелей, с которыми на литературном фронте боролись и «узвышэнцы», будучи ещё в «Маладняке» и отделившись от него. Поэтому многие были очень довольны поднимаемой против «зубров» и «академиков» компании, так как считали, что они только тормозят развитие белорусской культуры. Таково, например, было отношение к этому вопросу у Адама Бабарэкі; у некоторых молодых (например, у Глебкі), наоборот, возникли опасения, как бы борьба с национал-демократизмом не повлекла за собою свёртывание белоруссизации и строительства национальной культуры (об отношении к этому вопросу А.Бабарэкі и П.Глебкі есть в письме последнего ко мне, изъятом при аресте и предъявленном мне позже на следствии). Молодые (как всегда, более «ранине») были больше недовольны: так, ещё в самом начале борьбы с национал-демократизмом у меня однажды была

беседа с Лужаниным, о которой я до сих пор никому не сообщал. Он вспомнил почему-то Листапада (главу раскрытой и осуждённой контрреволюционной организации на Случчине) и заметил, что мы в своё время несправедливо, вместе со всей общественностью, осуждали этого комического «героя», что он был прав и что надо бы нам продолжить его дело, т.е. создать нелегальную организацию для борьбы с усиливающимся нажимом на нацию, на её интеллигенцию (борьба с национал-демократизмом) и «народ» (коллективизация; между прочим, Лужанин сам был из зажиточной семьи, и его родителей впоследствии также раскулачили, кажется). Я возражал Лужанину, так как по вопросу борьбы с национал-демократизмом придерживался того же взгляда, что и Адам Бабарэка, и главным образом потому, что всегда чувствовал себя обязанным советской власти. В это время я уже учился в университете, т.е. получал высшее образование благодаря этой власти, и не считал возможной для себя какую-либо деятельность, нелегальную или легальную, направленную в ущерб или даже на свержение этой власти. Кроме того, я знал Лужанина как молодого человека, сильно увлекающегося девушками и любящего перед ними позировать, и полагал, что ему просто хочется блеснуть перед предметами своего обожания в новой роли «главы» подпольной организации, романтического героя (тем более, что он тут же заметил, что и многих девчат можно было бы втянуть в такую организацию).

Спустя некоторое время Лужанин завёл подобный разговор со мною опять на этот раз вместе с Пятром Рагачэуским, известным мне работником редакции «Беларускай вёскі» и таким же, как Лужанин, «кавалерским героем». Тогда я просто попросил таких разговоров со мной не затевать, пообещав в противном случае сообщить о них куда следует. Хотя моя угроза и подействовала, но, конечно, она должна была быть не угрозой, а действием, т.е. я сразу должен был уведомить обо всём надлежащие органы. Однако я этого не сделал до сих пор, так как считал, что разговоры эти не могут перейти в серьёзные действия, и, сообщая о них, я могу только повредить личному благополучию моих всё же друзей и знакомых. Этим, конечно, я покрывал их и фактически мог бы считаться на этом основании их сообщником.

После этого случая у нас с Лужаниным дружба расстроилась, он стал сторониться меня, равным образом, как и я его, и мы встречались редко. Как раз ко времени появления моей работы о Трусе, П.Глебка в том же письме, о котором я упоминал выше, сообщал мне о неудавшейся попытке того же Лужанина выйти из «Узышиша» и вместе с впавшим в то время в явный национал-

демократизм писателем М.Зарэцкім (Касянковым) организовать новую литературную организацию, которая бы была бы действительно национальной, тогда как «Узвышша» и особенно такие «узвышэнцы», как Дубоўка, не понимают необходимости единого национального фронта, а своими действиями всё время нарушают его. Я понял, что это было новой формой только что описанных мною организационных планов Лужаніна, однако, по таким же, как и только что описанные, соображениям не сделал из этого никаких выводов. Новая организация не удалась: организаторы только съездили в Гомель, который думали сделать своей базой, выпили там знаменитого местного вина и переругались, после чего возвратились в Минск и получили от нас насмешливое прозвище «гомельских романтиков» (от бывших когда-то в Германии иенских романтиков). В новую организацию Лужанін меня уже не приглашал.

Но вернусь к вопросу о национал-демократизме. Мы думали, что этот вопрос вовсе нас не касается не только потому, что первый огонь был направлен против матёрых, враждебных и нам, старых национал-демократов, но и потому, что главной виной национал-демократов считалась их ориентация на Польшу. Мы же все, или почти все, испытывали к этому западному нашему соседу недружелюбные чувства. Я уже писал вначале, что в бытность поляков семья моя жила в материальном отношении очень плохо и я не имел возможности учиться, у других же «узвышэнцаў» были к таким чувствам и более глубокие основания: у Пушчи поляки расстреляли братьев, а Бабарэка сам лично партизанил против них и на своей шкуре испытал знаменитые польские *dwdzieścia pięć*. Поэтому мы все думали, что эти наши личные антипатии вполне гарантируют нас от уклонов в белопольскую сторону (как, между прочим, возмущался и Пушча, что его, сына бедняка, обвиняют в кулацкой идеологии). Мы не могли отделить здесь субъективного от объективного, не могли понять, что наше отталкивание от всего русского толкает нас в сторону польского (как это, например, фактически и было в области языка), что Белоруссия может существовать или в братском и тесном союзе с Советской Россией, или же в известной уже из истории «инкорпорации» в Польше, что иного, третьего выхода, быть не может и что всякое наше отталкивание от одного толкает нас объективно к другому, хотели бы мы этого лично или не хотели, испытывали бы на своей шкуре «25» или нет, видели бы поучительный пример Западной Белоруссии и всей истории или нет.

Итак, «Узвышша» не считало национал-демократизм своей особенностью. Поэтому, когда наступил тот, вынужденный советской

общественностью и партийным руководством, пересмотр позиций, о котором я начал было писать, никто на него и не обратил внимания, и даже после этого пересмотра мы в одной из передовых статей журнала, помнится, писали, что национал-демократизм как система никогда не имел места ни в объединении, ни у отдельных его членов, что только некоторые моменты свидетельствуют о существующей для некоторых членов опасности стать со временем на этот путь (это писалось уже в 1930 году, летом которого шесть членов «Узыниша» было арестовано, а до настоящего времени осталось в БССР и не подвергалось никаким репрессиям за национал-демократизм тоже только шесть человек).

Но вернувшись к этому пересмотру и его обстоятельствам. Я уже писал, что моя работа о Трусе явилась как бы каплей, переполнившей чашу и вызвавшей пересмотр, поэтому с неё-то и началось дело. Вначале думали ограничиться признанием ошибок моей работы – так, например, ставил вопрос Дубоўка, всё время допекавший меня за то, что я так некстати «вылез» со всем этим (мимоходом попадало и А.Бабарэку, так как он, во-первых, дал мне заказ написать такую работу, а во-вторых, так как она ему показалась очень хорошо написанной: он всегда мне говорил, что это – лучшее из того, что я написал; по своей всегдашней тенденции превозносить всё хорошо сделанное, он пропустил её без всяких изменений; по мнению же Дубоўкі, ни того, ни другого не следовало бы делать). Однако партийное руководство, к которому мы обратились за советом, указало, что этого недостаточно, и отметило ещё некоторые ошибки других членов организации, которые мы должны были признать. Начались собрания и дискуссии – никому не хотелось признавать свои ошибки. Ничуть не преувеличивая и не рисуясь, должен, однако, отметить, что только один я сразу согласился признать всё до конца и в такой мере, в какой это укажет мое партийное руководство и организация (это было в присутствии представителя ЦК КП(б)Б тов. Будзінскага). Поэтому как раз пункт, касающийся меня, был и составлен и отредактирован быстрее всех, хотя именно он и был поводом всего пересмотра.

Наконец была составлена декларация с признанием ошибок, однако, составлялась она в отсутствие Дубоўкі, Бабарэкі и Пушчы (они как раз гостили у Дубоўкі во время зимних каникул), и вот уже перед самым подписанием декларации отсутствующие прислали свой проект, в котором, кроме признанных нами, указанных нам партийным руководством ошибок, перечислялись ещё и другие (например, повесть высланного уже после нас А.Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя», где типизировались отдельные случаи головотяпства в образ всей советской системы; некоторые басни Кранівы и др.). Мотивом было то, что если уж, мол, признавать, так признавать все

ошибки у всех членов, а не только у нас, нескольких «козлов отпущения». Считая такой мотив вполне резонным, я также присоединил свою подпись к трём подписям составителей проекта. Однако большинство восстало против него, считая, что прибавленные составителями проекта ошибки, будучи мельче по сравнению с основными, только затушёвывают их. Они, конечно, были в этом правы, но мне тогда казалось, что они просто боялись признать свои ошибки и хотели выехать на наших.

В конце концов, после долгих споров большинство поставило перед нами вопрос так: или подписать составленный им проект (без добавленных нами ошибок), или совсем выйти из «Узыши». Мы, конечно, подписали, но с этого времени стали чувствовать себя в организации обиженным меньшинством и понемногу стали отстраняться от её работы.

Трещину между нами увеличили ещё два обстоятельства: 1) исключение Ф.Кунцэвіча и 2) поэма Дубоўкі «Штурмуйце будучыні аваншты». Первое произошло благодаря разоблачению Ф.Кунцэвіча как двурушника и имеющего связи с заграничной контрреволюцией. Мы не хотели исключать Кунцэвіча до проверки правильности опубликованной в газете заметки, так как и сам Кунцэвіч уверял нас, что всё это ложь и он докажет своё. Однако большинство решило реагировать немедленно и решительно, и только после долгих уговоров мы решили голосовать с ним вместе. Конечно, мы здесь проявили, во-первых, недоверие к материалам, публикуемым в партийной печати, и, во-вторых, стремление удержать и отстоять своего человека, примыкающего к нам по взглядам, т.е. по сути стремление уже чисто организационно-фракционное.

Поэма Дубоўкі затрагивала в своей основной теме коллективизацию. Так же, как мы считали национал-демократизм не относящимся к себе и из-за невозможности для нас ориентации на Польшу, не относили мы его к себе и как течение, делающее ставку на белорусского кулака. Последнее нами отбрасывалось не только потому, что большинство наших членов не было связано с кулачеством своим происхождением (наличие в нашей среде такого мотива я уже указывал в отношении Пушки). Многие из нас считали, что ставка на кулаков незерна, потому что национально белорусские кулаки как раз были наибольшими противниками белоруссизации: стремясь «выйти в люди», отталкиваясь от всего «мужицкого» и тяготея к «настоящему», они отталкивались и от белорусского (почти синонимичного для многих в Белоруссии с «мужицким» и «хамским»), и тяготели к русскому или к польскому; в колхозах же, наоборот, проводилась белоруссизация (такую мысль высказал как-то Дубоўка). Однако, конечно, мы упускали из виду наличие и чисто белорусских национальных и националистических кулаков, стремящихся к созданию своего кулацкого «независимого» белорусского государства и поднимавших иногда восстание на этой почве (например, известное слуцкое восстание). Да и коллективизацию в таком плане мы рассматривали тоже узко – неверно, с чисто националистической точки зрения, как средство белоруссизации. Кроме того, и сам Дубоўка в новой своей поэме как раз был непоследовательным по отношению к своему, только что приведенному высказыванию. В одной из «сказок», вкрапленных в поэму, проводилась такая «мораль» на этот счёт: *Зробіць благое справу добрую на*

сьвіце, т.е. колективизация оценивалась как хорошее только по своим «делам», результатам (вполне в плане приведенного высказывания о колективизации как средстве белоруссизации), но плохое зато по самой своей сути, само по себе. Такая «непоследовательность», конечно, только выдавала негативное отношение Дубоўкі к самой колективизации. И действительно, новая поэма была фактически и по сути направлена против колективизации. В ней опять противостояли два героя: *кошдуктор* – тот же *математик* из предыдущей поэмы, олицетворяющий собой партийное руководство (хотя здесь этот образ и был несколько менее подчёркнут, менее груб) и *пассажир* – крестьянин, отстаивающий своё единоличчество и приводящий в пользу его более художественно развернутые аргументы, чем доводы за колективизацию *кошдуктора*.

Поэма была пропущена Адамам Бабарэкам по прежним же мотивам, как высоко художественная, пропустил её и Главлит, она была уже набрана даже. Но тут большинство подняло опять бучу: после признания ошибок мы опять будем делать новые ошибки. Мы, меньшинство, считали, что если Главлит разрешил, зачем же мы к себе будем более строгими, чем сам Главлит. Понесли опять споры, приезжал сам автор, но не уговорил лидеров большинства (особенно управляющегося против печатания поэмы Крапівы), снял её сам, и она так и не увидела света. Это окончательно отделило от большинства как автора, так и всех нас.

Все события этого времени уже вносили некоторый разлад в моё сознание. С одной стороны, я чувствовал правоту большинства, но среди меньшинства были и Адам Бабарэка, к которому я в личных отношениях был ближе, чем к кому-либо другому, и Дубоўка, поэзия которого с художественной стороны неотразимо на меня действовала. Эти два обстоятельства, главным образом, и связывали меня с «меньшинством», однако, я уже чувствовал, что в идеологии этого «меньшинства», действительно, что-то неладное. Поэтому я решил взяться за выработку и приведение в порядок своего мировоззрения, за изучение классиков диалектического материализма. Этому способствовало и моё пребывание на последнем курсе университета, богатом как раз дисциплинами этого направления. В процессе этой начатой работы над своим мировоззрением мною написана работа о сборнике одного «маладнякоўца» В.Каваля – статья «Хада на ўсход», третья и последняя моя печатная работа, напечатанная в журнале «Узыниша» за 1930 год. В этой работе я вскрывал колеблющуюся между буржуазией и пролетариатом серединческую социальную направленность писателя, указывал на опасность таких колебаний и призывал писателя встать окончательно на сторону пролетариата. Кроме того, здесь я впервые (пусть, может быть, ещё и не совсем удачно) пробовал применить диалектико-материалистический метод к анализу художественного творчества. Никаких националистических ошибок я в этой своей работе не помню и могу записать её в свой актив. Она была для меня как бы возвратом к той линии, которая намечалась в первой моей упоминавшейся уже рецензии, однако, неправильность была в том, что я не обратился с таким анализом и такими советами к членам своего же объединения, к своим же друзьям, а выбрал себе нейтральный, посторонний объект, тогда как у нас материала, гораздо

больше яркого и требующего первоочередного внимания, было больше чем достаточно для моей критики. Неловко было трогать и жаль было трогать своих...

Последней моей печатной работой была расширенная рецензия на украинский журнал «Пролитфронт». Здесь я ставил вопрос о методе пролетарской литературы и разрешал его, хотя и неправильно, но не в националистическом, а даже в рапповском духе, пропагандируя «художественный методialectического материализма» (а для «узвышэнца» совнастъ в чём-нибудь с «рапповцем» – это было уже больше чем еретично). Здесь же, правда, ещё только мимоходом и очень осторожно, я пробовал разоблачить извёртывание от обвинений в национализме известного украинского националиста Хвилювого... Однако всё это были только первые, робкие и неуверенные шаги, нащупывание какой-то новой почвы... И всё же сейчас, строго говоря, я не могу утверждать, нашёл ли бы я эту новую почву, пошёл ли бы по новой дороге... Ибо основой для всего этого должен был быть полный разрыв со всем старым, в отношении к чему у меня не было тогда ни сознания его необходимости, ни надлежащей решимости.

Таким застал меня арест 25 июля 1930 года, закрывший «узвышэнскую» главу моей жизни.

* * *

Параллельно с «узвышэнским» периодом моей жизни протекал и университетский период её, о котором необходимо сказать несколько слов.

В Белорусский государственный университет, на литературно-лингвистическое отделение педагогического факультета, сразу на второй курс (как окончивший педтехникум), я попал по представлению Наркомпроса БССР, перед которым за меня ходатайствовали. Из «Узышиша» поступали я, Лужанин и Дарожны, из «Маладняка» – Трус, Вішнеўская и Казлоўскі, из «Польмя» – М.Зарэцкі. На этом же курсе уже учились «узвышэнец» П.Глебка и «маладняковец» А.Звонак. Таким образом, нас, писателей, оказалось на одном курсе порядочно.

Справедливость требует отметить, что большинство из нашей братии поставило себя в несколько высокомерные отношения к «серой студенческой массе». Мы выделялись своим внешним видом (шляпами, костюмами, причёсками), игнорировали её, не заводили новых знакомств, ограничивались имевшимися литературными знакомствами, что вызвало резкое недовольство студенческой массы. Недовольство это нашло своё выражение в фельетоне, помещённом в стенгазете, высмеивающем высокомерных «пісьменынікаў». Я лично, прочитав этот фельетон, не нашёл в нём ничего особенного: я не выделялся среди массы студентов (по внешнему виду, например, письменно), имел уже среди них некоторые знакомства, не чуждался никого, а пижонство и высокомерие некоторых наших «пісьменынікаў» и мне не нравилось и вызывало иногда и мои замечания им. Однако фельетон был написан по-русски и в несколько великолдержавническом тоне: осмеивались не только наши курсовые «пісьменынікі», но сквозило и насмешливое отношение к белорусской

литературе вообще. Это не могло не задеть и меня, особенно при моём национализме, но меня задело именно это, тогда как других больше задевали личные моменты.

Особенно почувствовали себя задетыми писатели из литературной группы «Полымя» – мой однокурсник М.Зарэцкі и учившиеся на старших курсах А.Дудар (Дайлідовіч) и А.Александровіч. Они, недолго думая, напечатали в газете «Савецкая Беларусь» письмо о выходе из университета, так как, мол, белорусским писателям из-за травли нельзя учиться в Белорусском государственном университете. Письмо это вызвало бурю негодования и студенчества, и общественности, а польской зарубежной печатью было подхвачено с особым злорадством: вот, мол, в БССР белорусов, да ешё писателей, блюют.

Естественно, что остальным нам, писателям-студентам, нужно было так или иначе реагировать на этот факт. Мы, «узывынэнцы», решили отмежеваться от выступивших писателей (помнится, так нам сразу посоветовал Шукевич-Трэцычкоў, бывший тогда редактором газеты «Беларуская вёска», куда мы все часто заходили к работавшему там Кузьме Чорнаму; да и вообще Шукевич состоял кем-то вроде партийного советчика при нас, так как нам симпатизировал). Мы составили соответствующее заявление. В составлении его, кроме нас – писателей-студентов 2-го курса, принимали участие студент 3-го курса нашего же отделения «узывынэнец» Краніва, а также Чорны и Бабарэка (Бабарэку и Краніве принадлежала в этом ведущая роль). Так как из нас всех лучшим голосом и ораторскими способностями обладал я (все остальные в этом отношении никуда почти не годились), то мне и поручили выступить с этим заявлением на общестуденческом собрании, что я и сделал. В своём выступлении я только и успел, ввиду ограниченного регламента (5 минут всего), зачитать это заявление, не прибавив от себя почти ни слова. Так как в заявлении мы не только отмежёвывались от сделавших выпад наших товарищей, но и некоторым образом оправдывали их, расценивая заметку в стендгазете как травлю белорусских писателей в университете, проведенную с великодержавницких позиций, то, по сути дела, наше заявление своим оправданием смазало осуждение и отмежевание и было всеми расценено как оправдательное. Так его расценил и бывший на собрании репортёр газеты «Звязда», приписав при этом оправдание целиком на мой счёт. Из его заметки меня также подняла на щит польская буржуазная пресса в лице маxовой виленской газетки *«Kurier Wileński»*, отметив моё выступление. Так и я неожиданно попал в заграничную прессу, вызвав её «сочувствие» и одобрение... Конечно, то, что я выступал не со своим лично, а с коллективным заявлением, ничуть меня не оправдывает: я принимал самое активное участие в его составлении и, во всяком случае, разделял его тогда целиком и полностью. Поэтому это моё выступление я отношу к самым отвратительным моментам своей биографии (особенною отвратительна мне была и тогда и сейчас та «поддержка», которую я получил неожиданно со стороны заклятых врагов советской власти и всего белорусского, но эта поддержка была вполне логичной и вызванной никем иным, как мною самим, говоря объективно и фактически). Этот факт послужил для меня потом на всю жизнь уроком, и больше таких вещей уже с моей стороны не повторялось. Все

события мне наглядно показали, как легко было, стоя на позициях, на которых я стоял тогда, очутиться по ту сторону баррикад в объятиях тех, кого я ненавидел с детства. Однако тогда я этого урока не извлёк, тогда глубокого анализа не сделал, пробовал оправдать себя перед собой нарочитой неловкостью репортёра, приписавшего всё мне, и, конечно, фактически продолжал оставаться на тех же позициях.

Из моего пребывания в университете мне вспоминается только ещё одна моя подобная ошибка. На одном из семинаров я преуменьшил значение статьи В.И.Ленина о Л.Н.Толстом на том основании, что Ленин, дескать, не был специальным литературным критиком и литературоведом (а по совести, я даже и не знаком был тогда с этой статьёй, ознакомившись с ней уже в ссылке). Этот факт тоже вытекал из моего недоверия ко всему русскому, даже к произведениям Ленина (которых я и не знал, да и не стремился по этим же мотивам узнать), — общий всем нам, разделявшейся и мною, националистической установки. Хотя я под давлением студенчества своего курса и признал свою ошибку, однако, опять-таки не так глубоко и широко, как делаю это теперь...

Из связей, завязанных мною в университете, кроме своих братьев-писателей, была только одна связь с учившимся на том же курсе Кандидатом Саледыкам, ныне отбывающим ссылку в Ирбите. Ограниченный по своим способностям и особенно затрудняющийся в учёбе из-за своего уже не совсем подходящего для учёбы возраста (он значительно старше меня), он часто прибегал к моей помощи, охотно, впрочем, всегда и всем оказываемой. Типичный народник и национал-демократ по своей психологии и идеологии (каковым, впрочем, он остаётся и до сих пор), он часто срезывался в спорах со мной, бывшем всё же гораздо левее его. Но, несмотря на это, я всегда любил его и, хотя никогда в этом и перед собою не сознавался, сознаюсь теперь: моя любовь протекала из родства наших националистических «дум». Сказать об этом теперь прямо, раз навсегда порывая со своим прошлым, я считаю своим долгом (о Саледыку в ссылке и моей связи с ним, прекращённой только в эти дни, будет сказано в своём месте).

III

Аресты по делу, по которому привлечён был и я, начались ещё весной 1930 года. В первой партии был арестован один из сотрудников «Узынша» и мой преподаватель по техникуму Г.Бялькевич, но так как мы все знали о том, что он был в своё время белорусским эсером, нас это нисколько не удивило. Арестован был и один из моих знакомых по техникуму, учившийся там на курс выше меня, а позже отбывавший со мной ссылку всё время вместе, проживающий и ныне в Кирове и освобождённый по отбытии срока Д.Дунько. Незадолго перед этим он был исключён из университета за махрово-националистическое и к тому же чрезвычайно глупое и неуместное выступление на семинаре по поэтике (ни с того, ни с сего начал распространяться на этом семинаре об образе несчастной и страдающей Белоруссии). Так как Дунько никогда не пользовался моим расположением и был мне известен как тип

довольно тяжёлый и тугодумный, а не глубокомысленный, то и это не обратило на себя моего внимания.

Летом начались массовые аресты: сразу сели все признанные и потомственные национал-демократы. Это тоже нас не удивило и расценивалось нами, как вполне логическое завершение борьбы с национал-демократизмом, об отношении к которому, бывшему у меня и А.Бабарэкі, мною уже говорилось. Там же я отмечал, что ни один из нас не считал себя законным национал-демократом, а потому и не подозревал даже, что его могут арестовать. Правда, среди арестованных был Чаржынскі, напечатавший одну статью в нашем журнале, но он был известен нам как работник «и нашим, и вашим», так как одновременно имел дружеские отношения и печатался и у нас, и у резко враждебного нам журнала «Полымя». Так что и этот арест ни о чём нам не говорил.

Всего за несколько часов до ареста я беседовал с Адамом Бабарэкам о предпринимавшейся мною, задуманной уже с весны, критической работе о творчестве Максима Лужанина. Работа должна была быть большим ударом и глубоким раскрытием идеологии последнего, как враждебной пролетариату, причём ударом уже всё-таки по своему, ио «узвышэнцу», не в пример предыдущей моей работе о «молодняковце» Василю Кавалю. Так этой работе и не удалось осуществиться, может быть, она была бы моим дальнейшим шагом в сторону правильного пути, а может быть, и тонтанием на месте – гадать теперь трудно...

...Во время обыска я прочёл в развернувшемся томике моего любимого поэта Блока:

*Тихо, и будет всё тише,
Флаг бесполезный опущен...
Только флюгерка на крыше
Сладко поёт о грядущем...*

И тут же у меня промелькнуло и часто мелькало, вместе с этими строками, в последующие дни сидения в подвале: да, вот и для меня наступает тишина, и, должно быть, будет ещё тише... А не нёс ли и я какого-то флага, который теперь только бесполезен и потому-то и опущен... Однако раздавались и мне сладкие песни о грядущем, и я поверил утешавшему мою мать сотруднику ГПУ, что действительно берусь только каким-то свидетелем и недельки через две буду опять дома... Всё-таки это было впервые промелькнувшее сознание того, что я не только литературный, а и политический человек...

В ночь 25 июля за моей спиной свистнул красноармеец, из глубины подвала впервые раздался часто слышавший потом возглас «Давай!», и я по винтовой лестнице словно ввинчивался куда-то и так плотно, что только сейчас чувствую, как начинают отпускать меня объятия винта под напором твёрдой моей воли стать наконец настоящим человеком...

В комендатуре я встретил (вернее, увидел) Адама Бабарэку с такой же, как у меня, подушкой под мышкой. На следующий день на прогулке я увидел лицо Язина Пушки в одном из окон «американки». Один из пришедших

вскоре из больницы говорил о такой же судьбе больного Ул.Жылкі. Во время передачи по ошибке в нашу камеру подали ответную записку Дубоўкі. Из уборной, помещавшейся как раз против нашей камеры, по утрам был слышен мощный, зикающийся на звуках «п» и «к» голос Кушэвіча. Все близкие мне «узышиэнцы» были тут, и всё-таки трудно было понять что-нибудь...

На одиннадцатый день – первый допрос и обвинение: принадлежность к подпольной организации СВБ (Саюз Вызвалення Беларусі), присутствие на двух собраниях литературной секции этой организации. Обвинение даже обрадовало: конечно, я тут не при чём, и меня скоро выпустят! Организации такой не знал и не знал, на собраниях не был, а во время одного из них меня и в Минске не было, из присутствующих на собрании, кроме «узышиэнца» Васіля Шашалевіча, с которым у меня по «Узышину» были очень далёкие отношения, никого из лично знакомых со мной не было. Ни Бабарэка, ни Пушча, Дубоўка, Кушэвіч совсем не упоминались. Хотя следователь и советовал подумать, однако, я успокоился: и думать нечего, я тут не при чём, кто-то из незнакомых мне присутствовавших на этих неизвестных мне собраниях и меня винил. И я чувствовал себя уже почти выпущавшимся из неожиданной беды.

Однако дальнейшие допросы пошли уже в плане национал-демократизма. Наводящие вопросы, письмо Глебкі, найденное у меня, о котором я писал выше, – и надо думать и осознавать действительно имевший место национал-демократизм. И он осознаётся, но перештетально, не до конца, с оглядкой, с попытками оправдать себя и близких и, боже упаси, не запачкать их! Документы об этом должны сохраниться в материалах следствия. Вообщѣ же меня тревожат редко, и я больше томлюсь в ожидании, причём с течением времени всё меньше и меньше надежд на свободный выход.

На третьем или четвёртом месяце сидения (или ещё позже) в камеру приходит Апіхойскі, и здесь происходит наше знакомство и сближение. Апіхойскі побывал уже во многих – и одиночных, и общих – камерах, в то время как я сижу в одной. Он много знает и разъясняет, что дело началось из-за нескольких «старичков»-нацдемов (Лёсіка, Некрашэвіча, главным образом, Краскоўскага), которым, когда они сели сюда, не дали покоя лавры «героев» украинского Союза Освобождения (СВУ), и они решили изобрести и свой СВБ – даже и окрестить его в точном соответствии с украинским (на оригинальное название даже изобретательности у них не хватило). В «созданную» так организацию они и вписали здесь уже всех, фамилии кого только когда-нибудь слышали, – вот мы все здесь и очутились. Не надо только идти на эту удочку провокации. А национал-демократизм – чепуха, за это не должны судить.

Апіхойскі был в те времена очень весёлым и жизнерадостным, много пел и изобретал разнообразные способы коротания беспечного тюремного досуга. Сидеть с ним было весело, и я опять начал верить в неизбежное освобождение. Долго, однако, с Апіхойскім мы не посидели; вскоре нас из подвала перевели в тюремный замок и там развели по камерам. Я попал в камеру, где уже пятые сутки голодал Чарнушэвіч (на свободе я знал его только с виду).

Это была первая виденная мною голодовка. Голодал Чарнушэвіч, протестуя против предъявленной ему статьи о терроре, как он мне сам объяснил. На 16-й, кажется, день он после беседы с посетившим его следователем голодовку прекратил. Во время голодовки Чарнушэвіча один из бывших в этой же камере обвиняемых по нашему делу, немного знакомый мне по литературе и университету, писатель-«маладняковец» С.Хурсік, предложил поддержать его голодовкой солидарности. Я сразу понял, что это уже формальное политическое выступление и решил ни за что не дать втянуть себя в него. Поэтому я несклонно был обрадован, когда старосте камеры К.Ламаку удалось уговорить и зачинщика и особенно поддержавшего его, чрезвычайно комичного типа нашей камеры, – бывшего министра самой БНР Вальковіча. Сам я, однако, всё время хранил молчание, не высказываясь ни за, ни против, из боязни, что меня сочтут трусом, и это показывает, что всё же меня тогда можно было втянуть уже и в политические комбинации, т.е. сделать участником политической борьбы контрреволюционного характера.

Чарнушэвіч оказался человеком совершенно противоположным по складу и настроению Аніхоўскому, с которым я только что расстался. Розовому оптимизму последнего у него противостоял мрачный пессимизм и всё чудился расстрел. Однажды он сказал мне, что действительно принадлежал к контрреволюционной подпольной организации, хотя и не СВБ, а другой, не имевшей названия, группе, в которую, кроме него, входили ещё Улашчык, Адзярыха, Дарацэвіч (лица все лично мне знакомые). Он во всём сознался и рассказал, но боится, что ему не поверят и покарают высшей мерой наказания. К этим мыслям его приводило, главным образом, предъявление ему статьи о терроре, которого он за собой не признавал и протестовал против этого голодоюкой. После такого разъяснения я понял, что голодовка Чарнушэвіча была для него ничем иным, как своеобразной формой борьбы за жизнь, подвергнувшись, по его мнению, опасности быть вскоре прерванный расстрелом. Однако та сила воли, которая позволяла ему выдерживать такую продолжительную и изнурительную голодовку (под конец её он выглядел почти совсем скелетом), показывала, как дорога была ему отвоёвываемая таким дорогим способом жизнь, и не могла не внушить мне к нему уважение и сочувствие. Я знал, конечно, что Чарнушэвічу не угрожает такая большая опасность, что это плод большого воображения больше всего, но даже и в таком положении я не мог ему просто по-человечески не сочувствовать. Чарнушэвіча не расстреляли, дали ему такую же ссылку, как и мне, и по окончании срока он теперь свободен.

Из камеры, где я сидел с Чарнушэвічом, я был отправлен в Москву. Так как отправка происходила вечером, то все, и я сам в том числе, думали, что на волю. Особенно вспоминается мне А.Гурло, завидовавший моему выходу на волю и не ожидавший его для себя, между тем как случилось как раз наоборот: на волю вскоре вышел именно он, а я поехал в Москву и дальше...

В камере-пересылке и по дороге в Москву я встретился впервые с П.Тарайковічам, отбывавшим со мною ссылку до конца, и ныне, после освобождения, проживающим здесь же, в Кирове. Однако тогда я этого ещё не знал и сблизился не с ним, а с Уладзімерам Зянковічам, с которым ехал рядом в вагоне в Москву. Сблизила нас маленькая деталь: так как взяты в

Москву мы были без предупреждения (а я, кроме того, всё время надеялся выйти на волю), то у меня не было с собою ни копейки денег. Когда я, между прочим, сказал об этом своему соседу, то он сейчас же достал имевшуюся у него единственную десятку и предложил мне половину этого своего капитала. Хотя я спачала и не брал, он всячески уговорами заставил меня подчиниться. Эта пятёрка, воплощающая в себе готовность поделиться последним с товарищем по несчастью, окончательно расположила меня к Зиньковичу. Мы решили и впредь дружить и переписываться, что и продолжалось потом некоторое время.

В Москве с Зиньковичам нас развели и посадили в большую общую камеру вместе с Улашчыкам. То, что мы были только двое среди почти сотни других — «промпартийцев», «кондратьевцев», сектантов, попов, перебежчиков и просто жуликов-кооператоров, — спали на нарах рядом, были почти одного возраста (он года на три старше меня), оба были холостыми и оставили на воле девушек, которые после нашего ареста от нас отступились и даже успели выйти замуж, и, главное, — имели почти одинаковое националистическое воспитание и связанные с ним реминисценции, основательно сблизило нас. Улашчык придерживался того же взгляда на наше дело, что и Антона Антона, но, спрошенный мною о принадлежности к организации вместе с Чарнушевичем, после некоторого колебания сказал, что это было действительно так и что он тоже сознался и раскаялся. Видя, что об этом он говорит неохотно, как о неприятном событии своей жизни, я о подробностях не расспрашивал и вообще больше никогда разговариваю на эту тему с ним не имел.

Под конец нашего сидения в Москве к нам в камеру прибыл Чаржынский. Мы с Улашчыкам единодушно встретили его бойкотом, т.е. не разговаривали с ним, не отвечали на его попытки заговорить, вообще не имели никаких с ним отношений. Мотивом нашего бойкота было то, что Чаржынский принадлежал к «создателям» СВБ, и, в частности, я полагал, что именно он вписал меня в эту организацию, зная мою фамилию по литературным работам в «Узвышши» (лично знаком я с ним никогда не был). В душе же я считал его попросту предателем нации, вероятно, так же относился к нему и Улашчык, хотя у нас с ним никогда разговоров об этом не было. Это само по себе достаточно красноречиво говорит о наших тогдашних позициях.

Наконец нам объявили постановление коллегии ОГПУ: мне ссылка на 5 лет в Глазов, Улашчыку — в Нолинск на тот же срок. Мы пожалели, что не вместе, и всё время строили самые мрачные планы, как мы будем прозябать там, в медвежьих уголках, целые пять лет молодой жизни... В камере, однако, нас все поздравляли с мягким приговором и даже завидовали: большинство предполагало себе не меньше, чем концлагерь, а многие уже имели такие приговоры. Помню, как раздражали нас эти поздравления и зависть: мы всё-таки считали себя невиновными и жертвами...

Наступил и этап, при отправке на который я встретился со своими друзьями Бабарэком и Дубоуком и новым приобретённым другом Зиньковичем. Дубоука считал, что нас ссылают из-за провала версии СВБ (нельзя же было, мол, после такого долгого держания в тюрьме выпустить нас и этим

фактически признать провал обвинения и несправедливость его), что нас продержат в ссылке недолго и мы опять вернёмся и будем работать так же, как и работали. Считая всё время Дубоўку чрезвычайно проницательным политически, я вполне доверился такому объяснению, и оно меня окончательно ободрило. Все мы решили морально поддерживать друг друга, не терять из вида, а для этого – поддерживать переписку. По сути и объективно это было решением держаться организованно и поддерживать связи объективно-организационного характера, причём уже более широкие, так как переписку я уговорился вести не только с друзьями-литераторами Дубоўкам и Бабарёкам, но и с новыми друзьями-нелитераторами Зяньковичем и Улашчыком. С таким решением я и отправился на этап и начал новую, ссылочную главу своей жизни, затянувшуюся до сих пор.

IV

Мои друзья отправились по Северной железной дороге, а я вместе с назначенными в Глазов Дунько и Тараймовичем – по Казанской. Не буду описывать следования по этапу, тяжесть которого говорила о том, что это наказание, а недавно полученное ободрение только вносило лишнюю горечь, так как наказание воспринималось как полученное не за свои преступления, а за чьи-то ошибки, допущенные при неумелом ведении следствия...

В Свердловске я встретился с Язэмом Пушчам. Настроение его было мрачное и озлоблённое: так же расценивая наказание, как незаслуженное, он не смотрел, однако, на конец его так оптимистически, как Дубоўка, и считал его чуть ли не бесконечным. Мое предложение поддерживать переписку он решительно отклонил, доказывая, что это только может навлечь подозрение, что мы действительно организованы и поддерживаем эту организованность (это было вполне справедливо, как я понял теперь, но тогда я просто счёл это проявлением известной мне и раньше мнительности Пушчы). Несмотря на это, я по приезде в Глазов отправил ему открытку, но ответа не получил и больше, кажется, таких попыток не повторял. Адам Бабарёка только после упорного бомбардирования Пушчи письмами получал от него лишь время от времени краткие открыточки типа – «Жив и здоров, чего и Вам желаю». Только в этом году, перед окончанием срока ссылки, открыточки немного участились и уже ставили вопрос: куда бы поехать вместе на жительство после ссылки. Однако после получения нами двухгодичных прибавок мы услышали только выражения сочувствия и просьбу к Адаму дать рекомендацию в Анапу, где у него были знакомые. Адам не выполнил эту просьбу, и переписка наша с Пушчам прекратилась на этом совсем.

В первые же дни по выходе на волю в Глазове я отправил открытки во все концы – и Бабарэку, и Зяньковичу, и Дубоуку, и Пушчу. Постепенно по прибытии их на места получались ответы, и так завязалась очень оживлённая вначале переписка. Оживлённее всего она была у нас с Зяньковичем, но быстрее всего и прекратилась. Зянькович попал в плохие условия: он не мог найти ни работы, ни квартиры, занимался физическим трудом, ютился где-то на чердаке. Вначале он бодрился и не унывал, но постепенно, особенно когда у него заболела (или даже умерла, точно не помню сейчас) мать, пессимистические потки стали проявляться всей чаще и сильнее... Я сообщал Зяньковичу о житьё-бытье всех нас, а также Бабарэки, Дубоуке и Улашчыку, с которыми вёл переписку. Он сообщал мне про себя и про Мурашку, которого я немножко помнил по техникуму, где он учился на три курса старше меня, и с которым Зянькович вёл переписку. Однако после получения работы я не имел возможности отвечать ему быстро и полно, также и от него стал получать ответы реже, и после иенолучения мною ответов на несколько писем к нему, адресованных до востребования на вокзал в Кострому (другого адреса он мне не давал), прекратил переписку и потерял его из виду. Только в самое последнее время Улашчык, живущий теперь в Иваново-Вознесенске, написал мне, что там же живёт и Зянькович – свободен и шёт мне привет. Отвечая Улашчыку, я просил его передать краткую записку Зяньковичу, где также приветствовал его и предлагал возобновить прерванную переписку. Однако ни от Зяньковича, ни от Улашчыка до сих пор никакого ответа не получал.

С другими переписка продолжалась гораздо дольше, хотя и теряла с течением времени свою оживлённость. Первое время, когда я был ещё без работы и без всяких абсолютно знакомств на новом месте, переписка была самым большим моим удовольствием, если не сказать прямо, – моей действительной жизнью. Мне фатально не повезло в товарищах по месту ссылки: один из них, Дунько, оказался в личном отношении человеком очень тяжёлым и грубым, что в обстановке совместной жизни в одной комнате, как мы жили первое время, вскоре привело к полнейшему разрыву с ним как у меня, так и у Тараймовича, и мы с ним не разговаривали, живя в одном городе и часто встречаясь ввиду общности занятий (оба работали тогда преподавателями техникумов), целых три года. С Тараймовичем я, хотя и не порывал ни разу, очень мало, если не сказать ничего, имел общего в смысле интересов. Старше меня почти на 20 лет, имеющий только среднее образование, очень ограниченный в смысле способностей и не имеющий почти никаких духовных интересов, он

ничем не мог привлечь меня. Особенно возмущало меня отношение Тараймовича к любимому моему предмету – поэзии. Когда я начинал при нём читать моего любимого Блока, то или был вскоре прерываем вопросом о том, почём моя хозяйка покупала крупу, или же вскоре замечал «смеженные вежды», лёгкое посвистывание в носу и мерное покачивание засыпающего единственного живого человека, с которым я мог быть близким первое время в Глазове. Только то, что это был единственно живой человек, с которым я мог поговорить, связывало меня с ним. Тараймович считал себя виновным в проведении некоторых националь-демократических замыслов (главным образом, в области краеведения), которые, однако, он осуществлял в русле политики партии и правительства и за которые пострадал только исключительно из-за изменения этой линии, пострадал за ошибки вождей. Хотя я и не разделял этого взгляда, считая и его и себя ни в чём невиновными, но молчаливо соглашался («чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало»). Да и спорить с Тараймовичем о чём бы там ни было, как я вскоре в этом убедился, было совершенно бесполезно: то малое, что он знал в какой бы то ни было области, он упорно отстаивал. Когда, приехав в Киров, я получил возможность общаться с людьми, более близкими мне по развитию, я стал встречаться и встречаюсь до сих пор с Тараймовичем очень редко, так что он неоднократно выражал мне обиду, что я никогда к нему не захожу.

Естественно, что переписка, особенно в первое время, и была для меня удовлетворением моих духовных интересов. Много давала мне оживлённая и обильная (главным образом, в первый год ссылки) переписка с Адамом Бабарёкам. Уже в первых своих письмах Адам предлагал мне заняться в переписке с ним выработкой и отшлифовкой своего мировоззрения, чтобы не опуститься в ссылке. В последующих своих письмах он иставил философские вопросы, особенно относительно разрешения кардинального вопроса – материализм или идеализм. Адам разрешал его, грубо говоря, так: в той области, в которой хозяевами являются мы лично, справедлив идеализм, там же, где мы сами только подвластны внешним силам, справедлив материализм – марксизм. Я, со своей стороны, подкреплял эту теорию попыткой перенести в философскую область теорию относительности Эйнштейна, с которой знакомился в процессе изучения физики и математики, которые теперь преподавал в техникуме. Только позже, когда я при изучении статистики, которую тоже должен был преподавать, ознакомился как следует с классиками марксизма и ленинизма, я увидел, как примитивно эклектичны были наши теории. Однако Адаму я никогда об этом не писал и не говорил, боясь его этим обидеть.

Если Адама интересовала больше философская сторона мировоззрения, то меня больше привлекали вопросы нации, национализма и интернационализма. Всё-таки я обвинялся в национал-демократизме и чувствовал для себя потребность разобраться в этих основных вопросах. Хотя я уже давно твёрдо усвоил ленинское положение о двух нациях в нации, теперь мне захотелось развить его дальше. Я выдвинул свою теорию белорусского пролетариата как класса нации, т.е. как класса, но национального, белорусского, замкнутого в этой своей белорускости. Такой класс должен быть, по-моему, и социалистическим по своей идеологии и националистическим в то же время, т.е. заботящимся, в первую очередь, о построении социализма и социалистической культуры в своей нации-классе, о её процветании и возвышении («Узышиша»). Интернациональное я понимал, исходя из буквального перевода этого слова, как междунациональное (именно междунациональное, не всенациональное), как элемент уважения к другим нациям-классам (пролетариатам) и культурного обмена с ними. Интернационал такого характера, по-моему, не должен исключать национализма, а включать его в себя, дополняя его и смягчая. Тот же интернационализм, который выдвигался против национализма (особенно в борьбе с национал-демократизмом), я пародийно называл «унтернационализмом», т.е. «поднационализмом», считая его скрытым национализмом господствующей русской нации, пропагандирующей свою культуру как интернациональную и ограничивающей, искусственно задерживающей развитие других национальных культур, в том числе и белорусской, в чём я теперь и увидел причину нашей ссылки и ограничения, изоляции. Так я модернизировал свой национализм, оставив его в сущности прежним, не понимая вреда национальной замкнутости и искусственных перегородок между нациями и широких перспектив дружбы народов и строительства общечеловеческой социалистической культуры, национальной только в своих формах до известного времени, когда и эти формы, считавшиеся многовечными, должны в историческом процессе быть снятыми, уничтожая этим последние перегородки между людьми. Кроме того, я клеветал здесь на русскую нацию, на великий русский пролетариат, обеспечивающий возможность национальной и культурной жизни многих наций СССР, помогающий им становиться на ноги, расти и развиваться, сознательно закрывая глаза на богатейшее обилие фактов, появившихся в этом направлении и появляющихся всё время. Так я пробовал оправдать себя вместо того, чтобы признать свою неправоту и включиться по-настоящему в исторический процесс.

Все эти «теории» я сообщал Адаму Бабарэку, а он или соглашался с ними, или обходил их молчанием, но возражений с его стороны я не помню.

Этими же мыслями мне пришлось поделиться и в краткой переписке с Кушцэвічам. Я уже упоминал эту фамилию, скажу теперь о нём подробнее. Кушцэвіч был единственным коммунистом в «Узышиши», и при той обстановке недоверия и недовольства партийным руководством, которая была у нас в «Узышиши», все, в том числе и я, несколько чуждались его. Вступил он в «Узышиша» годом позже меня, вскоре был исключён и официально пробыл в организации недолго. Однако за время своего пребывания у нас он сблизился с нашим «меньшинством», в особенности с Дубоўкам, так как оба жили в Москве. Эта близость продолжалась и после исключения Кушцэвіча из «Узышиша». Арестованный одновременно с нами, он вскоре был выпущен и во время нашего сидения в Москве, как и в первое время ссылки, находился на свободе. Когда мы сидели в Москве, он организовал всем нам передачи от наших родственников из Минска, добавляя, вероятно, и кое-что от себя. Поэтому мои родители после выхода моего на свободу посоветовали мне поблагодарить его письменно, что я и не замедлил сделать. Он ответил мне очень тёплым и дружественным письмом, где предлагал вести переписку по литературным и философским вопросам, на что я охотно согласился. В этой переписке я поделился с ним только что разработанными своими «теориями», «развивая» здесь, кроме того, ещё и известное положение тов. Сталина о пролетарском содержании и национальной форме культуры. Восприняв механически гегелевское положение о тождестве формы и содержания, я считал, что равноправная со сталинской будет и перевёрнутая формула: «национальная по содержанию и пролетарская по форме культура», что, конечно, больше импонировало моим националистическим установкам (вскоре, перечитывая Гегеля, я понял простую логическую неверность этого положения). Кушцэвіч, помнится, отнёсся к моим «теориям» несколько критически, но развернутой критики не дал. После обмена двумя-тремя письмами наша переписка прекратилась таким же образом, как и с Зяньковічам, т.е. мой корреспондент просто перестал мне отвечать. Позже Адам Бабарэка рассказывал мне о своей переписке с ним в то же время и с такой же историей; о попытках возобновить эту переписку скажу позже.

Переписка моя с другим товарищем по «Узышишу» – Дубоўкам – была менее обильной и оживлённой; он только изредка отвечал на мои письма краткими открытками, в чём я видел продолжение его прежнего отношения ко мне (мне известно, что с Адамом Бабарэкам у

него была переписка более обильная и оживлённая). Он сообщал мне, что продолжает начатый ещё на волне перевод поэмы Байрона «Чайльд Гарольд» и пишет иногда разную лирическую мелочь, но мало и редко. На мои настойчивые просьбы познакомить меня со своими последними произведениями (я уже писал о моей большой любви к нему как поэту), он в одной из открыток поместил краткое, кажется, шестистрочное стихотворение, темой которого были тюремные впечатления, одолевающие поэта и в заключении и на воле, и ставился вопрос: неужели весь мир — тюрьма? Адам Бабарэка познакомил меня в письме с двумя стихотворениями Дубоўкі, присланными ему. Одно из них было направлено против западнобелорусских национал-фашистов и осуждало, клеймило их за ту медвежью «поддержку» белорусов в БССР, которая шла только во вред этим белорусам. В другом стихотворении рассказывалась история жизни поэта последнего времени, и оно заканчивалось, помнится, так:

*Кандуктар зайдам пал'чыў мяне,
Цяпер жыву ў далёкай старане...*

Я уже писал, что *кандуктар* был образом партийного руководства в одной из последних поэм Дубоўкі, и таким образом поэт здесь признавал, что партийный *кандуктар* счёл его безбилетным пассажиром советского поезда и высадил *жыцьць* у *далёкай старане*. Помню, по поводу этого стихотворения я писал Адаму, что тоже чувствую себя высаженным из поезда на скрипучую плетущуюся телегу... В этих стихотворениях Дубоўкі отразился как прежний, притом ещё более откровенный сейчас, национализм его, так и та оценка нашего положения, которую он дал в нашей беседе при отправке на этап. Я вполне разделял и мысли, и настроения этих стихотворений, был тогда таким же.

Моя открыточная корреспонденция с Дубоўкам, поддерживаемая им без видимого желания, при моей наступившей занятости вскоре совсем заглохла. Последний раз, помнится, я писал ему, выражая сочувствие по поводу перевода его из Яранска в село Шешургу, о чём мне сообщил Адам. В кратком ответе он благодарили за сочувствие и высказывал раздражение переводом, как преследованием его неизвестно за что. Когда мы с Адамом Бабарэкам жили уже в Кирове, переписку с Дубоўкам вёл исключительно Адам, я изредка делал приписочки на полях и посыпал неизменные приветы, хотя сам и не всегда получал ответные.

Следующим моим корреспондентом был Улашчык. В своих недлинных, но частых письмах он сообщал мне как о своём неважном положении (ему не удалось найти более-менее постоянной и приличной работы), так и о таком же положении жившего в Уржуме и имевшего с ним переписку больного туберкулёзом и вскоре от него умершего нашего поэта-«узвышэнца» Ул. Жылкі. Сообщал он мне и некоторые новости из Минска, в числе которых помню присланное мне им напечатанное в белорусской прессе стихотворение – отречение от национал-демократизма Дудара, которое Улашчык расценивал как отвратительное. В этом я вполне был с ним согласен: Дудар был мне известен и как заклятый враг «Узышиша» и как моралью-невысокая личность, а здесь он был ещё в моих глазах простым предателем всего белорусского (так, стало быть, к этому времени отождествилось для меня национал-демократическое с белорусским вообще). Письма Улашчыка, проникнутые тогда неунывающим юмором по отношению и к своим неудачам и бедам и по отношению к описываемым им землякам, с которыми он общался (особенно мне помнится забавное описание путешествия выпущенных в Вятке нацдемов на лодках по реке Вятке на места своего следования – в Нолинск, Малмыж, Уржум, когда все переругались друг с другом, обвиняя друг друга в национал-демократизме и делая попытки утопить друг друга в реке), всегда меня веселили, и я ему ответил так же. Помню также, что советовал переходить на преподавание математики, которую он всегда не любил и называл «касторкой», и был очень рад, когда он всё-таки поступил по моему совету и стал преподавателем этой «касторки»...

Нашу переписку вскоре оборвал арест Улашчыка, о котором я узнал значительно позже.

К началу второго года моей ссылки моя переписка значительно уменьшилась и ослабла: моим корреспондентом остался только один Адам Бабарэка, да и с ним переписка приняла больше открыточный характер, став к тому же гораздо более редкой. Этому уменьшению, кроме указанных выше обстоятельств, были и более глубокие причины.

Вскоре после моего приезда в Глазов, после прибытия наших документов, всем нам троим была разрешена педагогическая работа, и двое из нас (я и Дунько) быстро устроились преподавателями техникумов. Хотя я и окончил педагогические учебные заведения – и среднее (педтехникум), и высшее (педагогический факультет университета), – но, откровенно говоря, заниматься педагогической работой не собирался, полагая отдаваться в будущем целиком литературно-критической работе. А тут мне пришлось стать

педагогом, да ещё и преподавать точные науки (физику и математику), которые я хотя и любил в школе и успевал по ним отлично, но всё же они никогда не были в центре моего внимания и стремлений, да и специализировался я вовсе не по ним, а по литературе и языкоизнанию. Если сюда прибавить ещё и трудности работы с учащимися, в большинстве своём деревенскими и нацменами (удмуртами), плохо понимавшими русский язык, на котором я только и мог вести у них преподавание, то станет понятным, что первое время я к своей педагогической работе относился почти казённо, как к средству существования, хотя и ценил, что мне разрешено это средство, тогда как другим моим друзьям оно, как я знал, было запрещено. В этом я видел проявление внимания ко мне как молодому и подающему надежды к исправлению работнику. Но, повторю, первое время духовно я жил больше в переписке, чем в педагогической работе.

Однако «аппетит приходит во время еды», и я всё больше и больше начинал втягиваться в педработу. К тому же мне поручили, в порядке общественной нагрузки, руководство драматическим кружком и, так как я всегда очень любил театр (в этом отношении на меня оказал большое влияние двоюродный брат-актёр, о котором я писал уже, отмечая также, что белорусский театр и сделал меня сознательным белорусом), в годы учёбы много играл и режиссировал в драмкружках, то я это поручение принял с удовольствием и взялся за дело горячо. Таким образом, моя производственная (педагогическая) и общественная (руководство драмкружком) работа ограничивала мою переписку хотя бы тем, что не оставляла для неё достаточного времени. Входя во вкус, я переставал чувствовать в этом какой-либо ущерб для себя, а находил всё больше и больше удовольствия и духовного наслаждения в новой работе. К тому же в это время я довольно серьёзно увлёкся одной девушкой...

Появились у меня и новые друзья из преподавателей того же техникума, в первую очередь Андрей Ванехин, мой ровесник, А.Ершов, позже – Г.Веретенников, Н.Чужакин. С ними меня связывали общие для молодёжи интересы и увеселения. В их кругу и на своей работе я даже забывал своё настояще положение, так как никакой разницы между ними и собой ни в чём никогда нечувствовал.

Зато тем большее кололи иногда напоминания о действительности этого положения... Отсюда появилось стремление поскорее из него выйти и, подогреваемый ещё к тому же приехавшими в гости родителями (которых я не видал с момента ареста), я летом 1932 года подал через местное отделение ОГПУ

прощение в ЦИК СССР о досрочном освобождении. Хотя я в этом прошении и раскаивался в своих национал-демократических ошибках, но смазывал это раскаяние ссылкой на то, что делал я их бессознательно, под влиянием происходивших событий и дурного примера. Так я и не получил ответа на это прошение...

Это время моей ссылки я расцениваю всё же как первое просветление. С этого времени и пошли чередоваться в ней просветления и затемнения...

В начале 1933 года случилось событие, которое заставило меня серьёзнее задуматься над своей идеологией. Я имею в виду приход к власти фашизма в Германии. До этого времени я мало интересовался и знал о фашизме. Знал, пожалуй, только, что это система господства монополистического капитала, основанная на жесточайшем подавлении рабочего класса и революционного движения. Но германский фашизм с самого своего воцарения показал всему миру и своё звериное националистическое лицо. Это не могло не заставить меня поставить вопрос и о своём национализме, который как будто бы был для меня решён очень просто в моей «теории» «пролетарского национализма», о которой я писал выше. А тут оказалось, что национализм – это вовсе не такая безобидная штучка. Это требовало продумывания и пересмотра своих позиций.

Как хорошо было бы поговорить откровенно обо всём этом с Адамом Бабарэкам. А тут вскоре подвернулся случай... Ну и случай: я действовал так необдуманно, цели своей всё равно не достиг, а только напортил себе так, что и теперь часто мучаюсь от этого...

На первомайские праздники я выехал со своим драмкружком в подшефный сельсовет (выданное мне ОГПУ удостоверение разрешало мне жить в Глазове и районе в пределах 30 км, так что особого разрешения на эту поездку я не испрашивал). Когда я садился на полустанке на поезд, чтобы возвратиться в Глазов, ко мне подошёл железнодорожник и предложил за 5 руб. купить билет до Вятки. Это был «мешочник», ехавший откуда-то с Урала, взявший билет до Вятки, но вылезший на этом полустанке, где цена на хлеб оказалась для него подходящей. Билет всё равно пропадал, и хорошо было его сбыть. У меня сразу мелькнула мысль воспользоваться этим случаем и повидаться с Адамом: как раз праздники, авось и не узнают... И, недолго думая, так как и думать долго было некогда – поезд стоял мало, я купил у железнодорожника билет и поехал в Вятку, куда и прибыл благополучно, хотя и ехал не без дрожи и страха... Прибыв в Вятку, я сразу же хотел отправиться в Слободской, но до отхода поезда осталось 6 часов, и я, вспомнив, что в Вятке живёт Чарнушевич, решил навестить его. На вокзале мне сказали, что адрес

могло узнать на главном почтамте, куда я отправился, без труда узнал адрес и вскоре уже здоровался с Чарнушевичем.

Он сразу же, что называется «сделал большие глаза», а я, видя это, поспешил его успокоить, что будто бы мне разрешён этот приезд для закупки учебных пособий для моего кабинета физики в техникуме, но я хочу также поехать в Слободской. То, что мне рассказал Чарнушевич, заставило меня тотчас же оставить этот план. А он мне сказал, что недавно возвратился из Горького, где сидел в тюрьме по делу Улашчыка, который сидит там и теперь (тут-то только я понял, почему у нас с ним прекратилась переписка). Сидит же Улашчык за то, что самовольно приехал в Слободской, где и был обнаружен на квартире у Аніхоўскага. Ехать туда теперь мне значило повторить историю Улашчыка, что мне вовсе не улыбалось. Поэтому я поблагодарил Чарнушевича за предупреждение, очені довольный тем, что решил зайти к нему, и поспешил поскорее оставить Вятку, тут только осознав всю безрассудность моего импульсивного поступка и в ужасе раздумывая над возможными его последствиями. Но прибыл я в Глазов благополучно, прошла неделя, другая, я успокоился и был рад, што все сошло гладко. Однако не тут-то было... Вдруг прибегает взъерошенный Тараймович и сразу: «Ты что же не сказал мне, что ты в Вятку езди!». Его вызвал начальник райотдела ОГПУ и обвинял в недоносительстве на меня, чему он немало удивился, так как о моей поездке ничего не знал и полагал, что я все праздники пробыл с драмкружком в деревне... Я поспешил его успокоить, что это, вероятно, ошибка и нигде я не был, но нечего и говорить, какие кошки заскребли во мне... Что делать? Сразу же идти сознаться или ждать, пока вызовут? Но идти сознаться мужества не хватило, пусть уж лучше зовут... Однако меня не звали, и уже только летом, как-то при регистрации, начальник позвал меня в свой кабинет, где я ему во всём сознался и во всём раскаялся...

Я полагал, что о моей поездке стало известно, во всяком случае, при посредстве Чарнушевича, хотя я и просил его никому не говорить о моём приезде, даже знакомым, но он не сдержал слово. Что это было так, я узнал уже позже в Кирове, где и Адам, и Аніхоўскі спрашивали меня, правда ли, что я был в Вятке когда-то. Им намекал на это Чарнушевич, с которым они иногда виделись, посещая изредка Вятку (в частности привозя туда в больницу болевшего и умершего перед нашим переводом в Киров отбывавшего в Слободском ссылку Маркевича). Так как этот мой «фортель» всегда был и есть для меня неприятнейшим моментом всей моей жизни, то я перед ними отпёрся, говоря, что они, вероятно, неверно поняли намёки Чарнушевича, относившиеся к чему-то другому, очевидно.

Полагаю, что этот «фортель» послужил одной из главнейших причин полученной мною этим летом двухгодичной прибавки срока...

После «фортеля» ещё настоятельнее встал передо мною вопрос о пересмотре моих националистических позиций. Теперь этому пересмотру способствовало ещё одно обстоятельство. Так как в кооперативном техникуме, где я вёл физику, никак не могли найти преподавателя статистики, то в конце концов меня спросили, не возьмусь ли за это дело я. Мне импонировало, что, во-первых, мне предлагают вести дисциплину, за которую никто не берётся, а во-вторых, что доверяют уже настолько, что предлагают вести науку не столько точную, сколько социально-экономическую. Поэтому я принял предложение с удовольствием и взялся за это дело с жаром. Поработать мне пришлось основательно, так как до этого времени я со статистикой был знаком лишь поверхностно и знакомился с ней только в порядке личного интереса, не изучая её никогда и нигде специально. Пришлось пропитудировать и весь «Капитал» Маркса, и пятитомник Ленина, и «Вопросы ленинизма» тов. Сталина. Эта работа, занявшая 33-й и 34-й годы (приблизительно по полгода из каждого), и оказала мне громадную услугу. В свете классиков марксизма я окончательно увидел и ложность, и пагубность занимаемых мной позиций. Но, однако, из этого моего осознания я не сделал ещё многих выводов, которые надлежало бы сделать тогда же и сразу же, оформив их документально. Но, во-первых, меня об этом не просили, во-вторых, для этого нужно было набраться духу и порвать со всеми друзьями, вросшими уже крепко в мою личную жизнь, и, в-третьих, самое главное: одно дело — осознание, а другое — психология, которая не перестраивается так быстро... Так и осталось это осознание при мне, наивно думавшем, что оно вполне гарантирует от всяких уклонов и рецидивов в будущем...

Правда, и психология моя не осталась без сдвигов. Втянувшись, наконец, в педагогическую работу и полюбив её отныне всей душой, я всей душой ей и отдался. И это не осталось не замеченным и не отмеченым — меня премировали паспортом ударника и пальто. Это меня подняло выше, и я своей работой всячески старался оправдать полученное мною почётное звание. И я его и носил, и оправдывал с того времени (т.е. с 1933 года) беспрерывно почти, до самых последних дней, когда мне запретили заниматься педработой...

Кроме этого, в моей психологии произошли и ещё некоторые сдвиги, которые, к сожалению, только не смогли в ней укрепиться и расшириться.

Я уже упоминал, о том, что ещё в начале жизни в Глазове я порвал с Дунько (по личным мотивам) и не разговаривал с ним. Однако в 1934 году, когда мы однажды очутились в кино рядом с Дунько, он, при потухшем свете, протянул мне руку, просил забыть бывший разлад и возобновить знакомство. Я не видел возможности отказать ему в этом, хотя и помнил отлично бывшие когда-то между нами тяжёлые и грубые сцены, доходившие с его стороны до физических воздействий даже. Хотя и неохотно, но я возобновил знакомство, и Дунько стал довольно часто посещать меня. Однако его разговоры мне начали не нравиться: в них всё чаще и чаще начинали звучать националистические нотки тоски по родине, по её возможному величию, а также и нотки недовольства национальной политикой партии. Хотя я и возражал Дунько, но неизменно слышал от него: «Э, брось ты! Это ты из газет». Особенно возмущил меня один случай. В Глазов прибыл ~~объезжавший~~ тогда Горьковский край председатель ЦИК БССР тов. Чарвякоу. Тогда ко мне прибежал Дунько и предложил подать Чарвякову заявление, проект которого он тут же зачитал. Там приветствовался Аляксандар Чарвякоу как наш славный земляк (была фраза вроде «приветствуем Вас, нашего славного земляка, здесь, в изгнании, на чужой земле») и спрашивалось у него сокращение срока ссылки. Я сразу же раскритиковал это заявление как неверное и по содержанию и по форме (коллективное организованное выступление), заявил категорически, что я его ни за что не подпишу и ему не советую, а советую пересмотреть свои позиции и заслужить себе освобождение ударной работой. Хотя и с трудом, но Дунько согласился с моей критикой, и заявление пошло в мусорный ящик. Однако разговоры, принимавшие всё более и более националистический характер, продолжались, и я, наконец, решил реагировать на них более решительно. После долгих колебаний я рассказал содержание всех разговоров начальнику райотделения НКВД тов. Шибаеву. Он меня выслушал и сказал, что поскольку никаких организационных предложений мне от Дунько не поступило, я идеино должен бороться с ним сам и только в случае таких предложений обязан немедленно заявить НКВД.

Не знаю, говорил ли на эту тему с Дунько тов. Шибаев или нет, но после этого заходить ко мне он стал гораздо реже и тон переменил совершенно.

Этот случай я заношу в свой актив, как первое своё решительное и мужественное выступление. Однако оно осталось единственным, и, самое важное, я не знаю, отважился бы я на такой поступок не по отношению к лично неприятному мне Дунько, а по

отношению к кому-нибудь из моих друзей, например, по отношению к Адаму Бабарэку.

Хотя и в этом отношении этот мой поступок имел некоторые последствия, но об этом я скажу в своём месте.

В этот же период моей жизни случился ещё один факт, или, точнее, была положена ещё одна тёмная полоса, тянущаяся за мною вплоть до последних дней.

В конце 1933 или в начале 1934 года я получил письмо из Ирбита – писали из ссылки Астрэйка, Калюга, Сяледчык... О последнем я уже немного говорил, нужно сказать несколько слов для предварительной характеристики о первых.

Астрэйку я лично никогда не знал. Но он после моего ареста жил в комнате по соседству с моими родителями. Когда как-то Адам Бабарэка спросил у меня, не могу ли я достать поэму Дубоўкі «Штурмуйце будучыні аванпосты», я написал моим родителям, они достали эту поэму через Астрэйку, прислали мне, а я переслал Адаму (последний хотел её перечесть и пересмотреть по-новому, но, кажется, из этого пересмотра ничего не вышло, как и из многих благих намерений, бывших неоднократно и у него и у меня). После Астрэйка прислал с приезжавшей ко мне матерью письмо с информацией о работе белорусских писателей и литературных событиях (хотя я о них и так знал, читая белорусскую литературную газету, высылаемую мне родителями). Собственно, здесь информация была только поводом: к ней были приложены для отзыва стихи собственного сочинения Астрэйки. Они были идеологически выдержаными, но художественно посредственными, всё же, чтобы не обидеть расположенного ко мне парня, я велел матери передать, что стихи мне понравились. Прибыв в ссылку в Ирбит, Астрэйка считал себя, таким образом, уже знакомым со мною и написал мне письмо первым, где двое остальных сделали только приписки. Однако, так как для переписки с ним у меня не было базы личного знакомства, то наша переписка на втором, кажется, письме и прекратилась.

Другое дело – Лукаш Калюга (Кастусь Вашына). Мы с ним были ровесниками и почти одновременно начали печататься (во всяком случае, одновременно начали печататься моя первая большая работа «Максім Гарэцкі» и его первая большая повесть «Ні госьць, ні гаспадар»). В литературу Лукаша Калюгу ввёл Кузьма Чорны, он же продвинул его упоминавшуюся повесть. Однако познакомился я с ним не раньше, чем через полгода, так как он жил в деревне, свои произведения посыпал оттуда, в городе бывал редко. От литературной политики он стоял далеко (в «Узвышша» вступил на год позднее

меня, хотя печататься мы стали одновременно), ею не интересовался и вообще производил тогда впечатление человека замкнутого.

Разбил эту его замкнутость и ввёл его в «Узыши» я, я же был его «крестным отцом» при этом (делал доклад о его творчестве на традиционном ежегодном собрании, когда «Узыши» принимало новых членов). Расшевелить его крестьянскую замкнутость было трудно, да так и не удалось тогда мне это до конца, в «Узыши» он вступил, только уступая долгим моим уговорам, да и при своём пребывании в нём (при мне, по крайней мере) не интересовался его внутренними делами, стоя в стороне от описанной мною выше борьбы «большинства» и «меньшинства», как ни старался я перетянуть его на сторону последнего. Единственным своим делом он считал литературное творчество, которому целиком и отдавался. Однако, очевидно, моя «обработка» его, хотя и значительно позже, а дала свои плоды, и весь дальнейший «рост» Калогі вылоть до последнего времени я объективно должен приписать себе, как это ни тяжело мне теперь сознавать.

Первая повесть Лукаша посыпала комсомольца в деревню и не вызвала никакой идеологической критики. Дальнейшие его произведения, печатавшиеся при мне, имели характер разработки народных анекдотов и вообще идеологически были бесхребетными и художественно довольно рыхлыми, чем и вызвали недовольство как внутри «Узыши», так и в беглых замечаниях критики со стороны, однако резких выпадов и замечаний о враждебности не вызывали. Только за последнее время, учась уже в Белспедтехникуме и живя в соседней со мной комнате, Лукаш стал несколько поддаваться моей «узышэнской» «обработке» и даже принимать некоторое участие в литературной политике, по крайней мере, в знаменитом в техникуме литературном кружке.

Во время моей ссылки Лукаш стал печатать свою большую повесть «Нядоля Заблоцкіх» и прислал начало её мне и Адаму. Вскоре прислал он мне и небольшое письмо, в котором жаловался на то, что критика несправедливо считает его произведение кулацким. Я ободрил его, что, наоборот, по-моему он стоит теперь на позициях белняцкого крестьянства (по этому поводу мы обмениались мнениями с Адамом Бабарэкам, который придерживался той же точки зрения). Больше Лукаш мне не писал и второй части «Заблоцкіх» уже не прислал (я её прочёл позже, получив от родителей; потом я узнал, что дальнейшее печатание его произведения было прекращено ввиду признанной его враждебности; из белорусских газет я узнал, что Лукаш ещё напечатал одну новеллу «Цеснаватая куртачка», которую резко критиковали как кулацкую и журнал с которой был даже

запрещён (сам Лукаш позже недоумевал по поводу этого, считая, что пролетарская литература не увидела в этой новелле «своей пользы» и так грубо её не поняла и не приняла, однако моей просьбы восстановить эту новеллу для меня и прислать прочитать он так и не выполнил).

Вот теперь с этим самым Лукашом у меня и завязалась оживлённая переписка, которую я и считаю тёмной полосой, тянувшейся за мной до последних дней. Такая моя оценка её вызывается тем, что, во-первых, эта переписка стала причиной рецидивов многих настроений неизжитой ещё моей националистической психологии (хотя идеологически я уже как будто и перестроился) и, во-вторых, потому, что в ней я всё время чувствовал свою неловкость и двурушничество, кривил душой и перед самим собой и перед ним, никак не решаясь сказать ему всю правду прямо или повлиять на него в другую сторону, или порвать с ним вовсе, что я делаю только теперь.

Первым моим чувством было поддержать и Лукаша и всех ирбитских близких мне когда-то людей, ободрить их в ссылке, что я и сделал вместо того, чтобы сразу же раскрыть им глаза на действительное положение вещей и призвать к пересмотру позиций. Такое начало нашей переписки определило и дальнейшее её продолжение, потянув за собой и упоминавшиеся мной рецидивы. Положение стало и оставалось для меня в высшей степени ложным до самого последнего времени.

Оказав моральную поддержку, я хотел было оказать и поддержку материальную, что мог сделать вполне и даже пообещал. Однако, поразмыслив, воздержался, считая, что я смогу это сделать только после того, как постепенно «переработаю» идеологически своих друзей (да у меня не хватило мужества начать такую переработку сразу же и решительно, я надеялся на «постепенность», которая так и осталась благим пожеланием, обернувшись в «постепенность» совсем обратного порядка: в процессе переписки я постепенно возвращался к своим старым позициям, по крайней мере, психологически). Это было первое мое двурушничество и кривление душой и перед собой и перед ними.

Немало было таких же ложных ситуаций и в нашей переписке. Из них вспоминается наиболее яркая: в одном из писем Лукаш обвинял Астрэйку в якшании с местными ирбитскими девушкиами и женщинами «финно-монгольского типа» и писал, что сам он придерживается в этом отношении принципа «чистоты расы», спрашивая об этом моего мнения. Я сначала хотел раскритиковать эту «теорию», потом просто обойти её молчанием и кончил тем, что

поддержал Лукаша, боясь, что в противном случае подорву его доверие к себе и заставлю смотреть на себя с тем же презрением, с каким он смотрел на Астрэйку. Между тем, сам я не только давно поступал так, как Астрэйка, но как раз в это время увлекался одной девушки «финно-монгольской расы» и даже женился бы на ней, если бы только она на это согласилась... А Лукашу (и себе, конечно) я так жестоко кривил душой и даже плёл какую-то мурку о белорусах как чистейшей славянской расе, в которую сам уже давно не верил... Так, боясь заслужить у хорошего товарища плохое мнение о себе, я не только поддерживал его на националистических, даже явно фашистских (расовая теория) позициях, но и сам этим самым скатывался на них... И это ложное положение тянулось у меня до самого последнего времени, о других проявлениях его я скажу дальше.

Живя в таких обстоятельствах, я наконец подошёл к концу своего глазовского периода. Вызвавший всех нас начальник райотделения НКВД предложил нам переехать в Вятку. Несколько дней перед этим я получил от Адама открытку, где он сообщал о таком же полученном им предписании и о том, что в Вятке уже и бывшие раненые в Малмыже, т.е. народу уже порядочно.

С одной стороны, мне жаль было расставаться и с Глазовым, в котором я уже здорово прижился, и, главное, с той студенческой молодёжью, работая с которой я сам молодел и жил одной жизнью (вспоминается яркое общее переживание челюскинской эпохи, захватившей и меня вместе с ними). С другой же стороны, привлекала перспектива жить и работать в большом городе, собиравшемся вскоре стать красивым центром (слухи о чём ходили уже в Глазове) и, главное, жить вместе с Адамом Бабарёкам, по которому я так соскучился.

Всё же я просил начальника оставить меня в Глазове, но не был огорчён невозможностью этого.

Тепло провожаемый молодёжью, которая, хотя и жалела со мной расставаться, но искренне радовалась моему «повышению» (как она это расценивала), я покинул Глазов.

Перед самым моим отъездом я (и все трое мы по очереди – Дунько, я и Тараймович) имел беседу с приехавшим в Глазов каким-то сотрудником НКВД, не назвавшимся нам (беседовали в кабинете начальника райотделения). Обстоятельно познакомившись с моими настоящими убеждениями, этот сотрудник ярко нарисовал передо мною и те мрачные и те светлые перспективы, которые могут ожидать меня в зависимости от дальнейшего моего поведения.

Продолжительной и почти товарищеской, откровенной беседой я был очень доволен, казалось, что и мной также остались довольны...

Первым из знакомых я встретил на улице в Вятке Максима Гарэцкага. Он мне не удивился – здесь было уже много «наших». Однако первый он поставил передо мной вопрос: что это значит? К лучшему или худшему? Но при этой встрече ни я, ни он не имели никаких, даже гадательных, предположений. Так и решили – кто его знает...

Я остановился в доме колхозника и просил у Гарэцкага помощи в квартирном отношении. Он сказал, что у него уже почути Багданович и поэтому принять меня он не может, но посоветовал обратиться или к Чарнушевичу, работавшему в редакции «Вятская Правда», или, лучше всего, к Аніхойскому, который говорил ему, что нашёл себе комнату. Так как Аніхойскі большие располагал меня к себе и по камерному знакомству, а Чарнушевича я теперь, кроме того, подозревал в разглашении моего посещения Вятки, то я с радостью и надеждой направился по указанной мне дороге на пивзавод.

Тот, кого я встретил там, мало был похож на знакомого мне по камере Аніхойскага. Обрюзгший (вскоре я узнал от Адама о том, что он много пил за последнее время ссылки), пугливо озирающийся по сторонам, он сказал мне, что – боже упаси! – живёт с хозяйственным сыном, спит, скорчившись, на сундуке (последнее, при первом же посещении его квартиры, оказалось ложью) и принять меня не может и вообще очень занят теперь спешной работой. Так я и ушёл, разочарованный в своих надеждах (прощаясь, он всё-таки просил иногда заходить и дал приблизительный адрес, хотя и оговорился, что почти всё время бывает на работе и застать его дома трудно).

Чарнушевич, хотя и встретил меня приветливо и без тени какой-то неловкости, которую я ожидал найти в нём, пригласил к себе. Но жить в его конуре я ужаснулся и после нескольких дней мытарств в доме колхозника, откуда нас гнали, что называется, в три шеи, при помощи нашедших уже комнату малмыжан (Гурскага, Міцкевича, Кораня) нашёл и себе угол, в котором я живу до сих пор.

Теперь надо было устраиваться с работой. Время для устройства на педагогическую работу было самое неподходящее: учебный год в разгаре, учебные заведения укомплектованы преподавательским составом. Всё же горено не отказывало принципиально и обещало с течением времени устроить. В горено (в здании горсовета) в поисках работы сходились почти все

новоприбывшие нацдемы. Здесь, в этом своеобразном нацдемовском «клубе» первых времён, в коридорах горсовета, я впервые с ними и познакомился. Хотя никто из встречаемых мною в этом «клубе» людей и не был известен мне как хоть в каком-нибудь отношении выдающаяся личность, однако я и не предполагал встретить таких мелкокалиберных граждан, каких я встретил на самом деле.

Главными вопросами, бесконечно и безрезультатно дебатировавшими в «клубе» были два: 1)зачем сюда всех собирали и 2)что будет дальше (отпустят или не отпустят, оставят здесь или разбросают). В решении первого вопроса высказывались такие мнения: 1)собрали поговорить перед освобождением (Міцкевіч высказывал такое мнение, он даже думал, что сразу же по приезде в Вятку получит документы об освобождении) или созвут какую-то «конференцию» всех нас, после которой освободят; 2)собрали, чтобы разослать по-новому в районы (такое мнение высказывали, помнится, Багдановіч и Аніхоўскі); 3)собрали для удобства наблюдения перед окончанием срока, для последней проверки (так думал Гурскі, отчасти поддерживаемый и Аніхоўскім). Лично я больше склонялся ко второму мнению, но, по совести говоря, не был уверен в его точности и вообще не мог понять причин сбора (в Глазове я думал о «повышении», но безработица первого времени и особенно то, что помочь найти работу НКВД не бралось, разубедили в этом).

В решении второго вопроса почти все сходились на том, что должны освободить, повторяя прежние теории своей невиновности (вообще настроение невиновности было вначале, по-моему, всеобщим). Один только Аніхоўскі смотрел на вещи теперь более пессимистично, если не сказать, совсем пессимистично (в чём опять я увидел такую разительную перемену по сравнению с знакомым мне его оптимизмом при сидении в камере и отправке на этап). Он считал, что если и освободят, то не всех, и предсказывал, что ни меня, ни его, ни, вероятно, Бабарэку, Гарэцкага, Багдановіча не освободят по чистой, полагая, что всех этих лиц можно считать потенциально опасными. Я же лично в этом отношении был оптимистом и, считая себя уже вполне идеологически очистившимся, не разделял опасений Аніхоўскага. Гарэцкі считал, что общий политический и экономический подъём страны не должен заставлять держать нас больше в ссылке. Но всё же главным аргументом все выставляли упоминавшуюся мною свою невиновность.

Рядом с этим настроением невиновности очень характерно и настроение боязни друг друга, боязни провокации и доносительства со стороны друг друга. Почти каждый опасался в другом «сачкама» (старый, употребительный в нашей среде термин, пущенный в

обиход, кажется, моим однофамильцем Алесем Адамовичем, – соединение двух слов: «сачыць» и «камісар», т.е. тайный агент). Отсюда и разговоры, которые велись в этом «клубе», имели неизбежно идеологически строго выдержаный характер, часто произносились целые декларации, в которых явно чувствовалось, что они рассчитаны на то, чтобы возможные «сачкамы» о них «туда» всё передадут. О «сачкамах» тоже говорилось, и при отсутствии кого-нибудь часто заводился разговор, не «сачкам» ли отсутствующий, и проводились наблюдения как за, так и против, причём иногда чрезвычайно личные в своей «глубокомысленности». Полагаю, что в моё отсутствие не раз говорилось и обо мне, как о «сачкаме».

Для характеристики «клуба» надо сказать ещё несколько слов о его отношении к убийству С.М.Кирова. Эта весть поразила всех как громом, но первой мыслью было: не начнется ли и для нас репрессии. Помнится, как М.Гарэцкі сказал, что ему очень тяжело чувствовать себя формально в одном лагере с убийцами (мию, однако, эта фраза была воспринята в плане описанных только что деклараций). Однако успокаивали мы себя тем, что это дело внутрипартийное и нас не должно коснуться (так, помнится, высказывался Богданович). Таков был политический уровень встречавшихся в «клубе». Не отставала от него и этика, самой характерной чертой которой было «подсиживание» друг друга при поисках работы. Особенно на этот счёт повезло мне: меня «подсидел» в горуно при посыпке на временную работу мой же глазовский «земляк» Тараймович, выдвинув вперёд большой педагогический стаж, хотя очередь идти на работу была моя и со мной уже договаривались; в крайнюю меня «подсидел» Гурскі, попросивший уступить очередь; даже в школе №1 пытался «подсидеть» Я.Кінель, только маленько опоздал.

Бездработица, мещансское окружение «клуба» тяготили меня, и опять несколько развлекла переписка. Теперь это была преимущественно переписка со знакомыми по Глазову, с молодёжью, главным образом, с женской молодёжью. Весьма оживлённая вначале, она постепенно уменьшалась и на сегодняшний день прекратилась совсем. Всегда справедлива пословица: как с глаз, так и из памяти... С нетерпением ожидал я приезда Адама Бабарэкі, задержавшегося со сдачей дел в Слободском, и пригласил его жить первое время у себя, и он согласился. Наконец и он приехал. Но первые же дни совместной жизни с ним привели меня к новому разочарованию: Адам теперь мало чем отличался от описанных выше членов «клуба». Ставший типичным бухгалтером, усталый, апатичный ко всему, засыпающий за чтением, довольно неприятно скуповатый в денежном

отношении, — как мало походил он на знакомого мне прежде увлекающегося идеалиста-романтика. Кроме того, в первые же дни в отношении к нему я допустил одну крупную ошибку. Разоткровенничавшись после стольких лет разлуки, я рассказал ему, между прочим, и о том случае с Дунько, когда я сообщил о его разговорах начальнику райотделения НКВД. Адам ничем не выразил своего отношения к этому факту, но я почувствовал большую неловкость и неприятность и стал с этого времени замечать, что Адам меня как будто бы немного опасается. Вероятно, и он считал меня «сачкамам» на основании этого моего признания... Но, во всяком случае, всякий разговор на тему национальную или политическую, даже на тему обсуждения политических событий, он неизменно прекращал репликой: «Э, брат, что нам об этом говорить: это и без нас разберут...». Правда, Адам поддерживал меня, когда я иногда впадал в уныние по поводу затянувшейся моей безработицы, т.е. «развеселял» в некотором отношении. Кроме того, иногда он оживлялся, встретив какую-нибудь интересную мысль или даже оборот в читавшихся нами вместе, главным образом, немецких произведениях (мы решили с ним окончательно овладеть хотя бы одним из западно-европейских языков), начинал эту мысль развивать и в этом немного напоминал мне прежнего Адама, но всё же потухал быстро...

Наконец я получил работу — мне предложили преподавать немецкий язык в неполной средней школе №1, и я за это взялся. Однако уроков у меня вначале было немного, и время для того, чтобы не только не прекращать, а расширять переписку, было достаточно. Как-то в середине зимы Азбукін сообщил мне, что Улашчык уже освободился из концлагеря и поехал в Ташкент. Тут-то меня потянуло опять к Улашчыку, к нашей дружбе и прерванной переписке, тем более было интересно теперешнее настроение Улашчыка и проиденная им школа лагеря. Я написал открытку, он ответил. Жаловался, что не может никак устроиться на работу, но чувствует всё же себя на свободе отлично. Так как в то время в Кирове сравнительно легко можно было устроиться на работу даже в нашем, всегда вызывающем опасения, положении, а человеку свободному — тем более, то я и предложил Улашчыку приехать сюда, где он сможет легко устроиться, а потом, после нашего освобождения, в которое я твёрдо верил, мы с ним вместе можем выбрать какой-нибудь город и поселиться там. Моё предложение поддержал Азбукін (или он его сделал, а я поддержал, — точно сейчас не помню), и Улашчык, посетив после Ташкента Минск (где,

между прочим, навестил и моих родителей, очаровав их своей симпатичностью), прибыл в Киров.

В первых же его рассказах главным было восхищение новым Минском одновременно с сожалением о том, что нам теперь нельзя там жить. Говорил, что старые знакомые при встречах в большинстве не узнают и отворачиваются (как, например, Крапіва-Атраховіч), что нашёлся только какой-то один чудак Пшанічны, учившийся вместе с Улашчыкам и Аніхоўскім, который встретил его радушно и даже спрашивал о житье-бытие Аніхоўскага. Говорил также, что в Минске опять начались аресты и сидят уже некоторые литераторы (Шукайла, Маракоў будто бы), а также и сотрудники Академии Наук и университета. О своём пребывании в концлагере не распространялся, говоря, что там всё то же, что мы с ним переживали в Бутырках, только несколько свободнее в смысле передвижения и веселее при работе. Конечным выводом его было горько-ироническое: надо нам всем сделаться русскими и даже переменить фамилии на «Суслопаровых» или «Чернядьевых» (как звала квартирная хозяйка Чарнушэвіча), Белоруссия обходится и без нас, мы ей не нужны и никогда нужны не будем...

Хотя я и видел в этом скрытое националистическое раздражение, но молчал... А с тем, что Белоруссии мы не нужны, я давно был согласен.

Улашчык, поселившись у Азбукіна, быстро воспринял и его систему жизни, состоящую в перманентном ухаживании за всевозможными индивидуумами женского пола без различия возраста, внешних и внутренних данных. Так как я не мог в этом с ним соревноваться, то мы стали встречаться реже. Так и Улашчык оказался иным, не тем... Но всё же он не мог не будить в моей психике старых поток, образов того старого, которое я уже в своём сознании от себя отбрасывал...

Близилось время окончания срока... Впервые это почувствовалось ещё зимой, когда нас всех по очереди вызывал для беседы тов. Савельев. Характерно, что почти все, выходившие от него, обязательно говорили, что заявили ему о своей невиновности. Однако по лицам некоторых видно было, что говорили-то они там совсем иное (особенно это видно было по Азбукіну, Міцкевічу). Таким образом ещё отдавалась дань старому «хорошему тону» – признавать себя невиновным, не признавать своих ошибок, но уже только на половину, только перед «своими», а не перед начальством. Отдал ему дань и я, хотя и говорил тов. Савельеву об окончательном разрыве с националистической идеологией, но «своим» об этом не сказал (хотя и не говорил о своей невиновности, просто обошёл

молчанием). Таким образом, я и все, вероятно, чувствовали себя сидящими на двух стульях. Не было решительности твёрдо и окончательно сесть на один из них.

Так как все уже получили работу, то «клуб» в горсовете распался. Зато некоторое подобие его кочевало по коллективным квартирам, главным образом, на улице Молодой Гвардии, где жили Гурскі, Міцкевіч, Корань, Багдановіч, и у нас, где на холостяцком положении жили мы с Адамом. Некоторые, правда, ни разу не бывали у нас (Гурскі, Саляніковіч), но некоторые (Кіпель, Чарнушэвіч, живший от нас через пять домов, Тараймовіч, позже Улашчык) бывали часто, в особенности Кіпель, который даже заслужил от нашей квартирной хозяйки прозвище «постоянный».

В новых «клубах» при том же настроении боязни друг друга и декламаций, с одной стороны, о своей невиновности, а с другой, – о преданности партии и правительству, дебатировался уже вопрос: что делать после освобождения. В освобождении, особенно после освобождения Дунько и Чарнушэвіча (между прочим, не верившего в своё освобождение до последнего момента по всегдашей своей мнительности), для остальной массы, сроки которой истекали в июне-июле, не было сомнений: чем мы хуже их? Поэтому теперь только советовались, куда лучше поехать после освобождения.

Ехать в Белоруссию собрался только один Кіпель, он даже был уверен, что его позвут туда теперь (уверенность эта была у него непоколебимой ещё с отправки на этап, вообще, это человек с некоторыми амбициями и, главное, уверенный, что он изобрёл неизобретимое – вечный двигатель, «перпетум мобиле», модель которого он мастерил всё время в Кирове и изложением теории которого порядком таки надоел нам с Адамом, посещая нас довольно часто). Адам собирался на юг, в Анапу, где у него был знакомый, с которым он даже списался на этот счёт. Юг привлекал и Дунько, разочаровавшегося, однако, в нём при посещении и вернувшегося к разбитому корыту в Киров. Гарэцкі намечал западную область, Смоленск, в частности, очень близкий по расстоянию к его родной деревне. Міцкевіч, Корань и Улашчык тяготели к Поволжью. Гурскі, Азбукін, Тараймовіч полагали остаться пока в Кирове. Я хотел поселиться в привычной мне климатической полосе и намечал города Смоленск, Чернигов, Калугу (из последней я получил в ответ на свой запрос приглашение в среднюю школу, но уже было поздно – вместо освобождения получилось два года прибавки...). В Белоруссию все опасались ехать из-за боязни рецидивов старого.

В начале лета как-то пришёл Аніхоўскі с женой (вообще заходивший к нам редко) и торопил идти на вокзал, так как получил

открытку от жены Кушцэвіча, что она сегодня проезжает в гости к мужу через Киров (муж её живёт в ссылке в Минусинске). Я уже писал про Кушцэвіча. В ссылку он попал одновременно с Калюгам. Калюга даже прислал мне его адрес, он был с ним в переписке и предлагал вступить и мне в эту переписку. Но я, помня неожиданно прерванную нашу переписку раньше, никак не мог собраться. Когда мы стали жить в Кирове вместе с Адамом, то это выполнил уже он, написав Кушцэвічу. Кушцэвіч ответил, передавал привет и мне, но с некоторым уклоном по поводу того, что я ему не пишу из-за неимения времени (как писал я в своей приписке к писанному Адамам), тогда как нахожу время для переписки с другими (подразумевая, вероятно, Калюгу). На предложение Адама вести переписку по философским вопросам (всегдашний конёк Адама, всегда остающийся в области благих намерений) отвечал уклончиво. С горьким юмором писал о своей перманентной безработице и невозможном материальном положении. Однако ни я, ни Адам так и не собирались ответить на это письмо.

Жену Кушцэвіча встречали, кроме меня и Адама, Аніхойскі с женой и Улашчык. Она рассказала нам те же новости, что и последний, т.е. будто бы в Минске опять аресты (вероятно, и она и Улашчык ложно нас информировали, так как вскоре я встретил стихотворение Маракова, фамилию которого оба называли в числе арестованных, в белорусской литературной газете). Говорили, что её Фэліксу очень круто приходится, что ему будто бы даже не разрешают быть читателем местной библиотеки. Аніхойскі посоветовал ей апеллировать, на что она сначала махнула рукой, а потом сказала, что всё-таки нужно будет попробовать. Каждый из нас черкнул несколько слов Кушцэвічу. Я, помнится, просил у него извинения за то, что не писал ему, вскоре обещал написать (чего так и не выполнил) и приветствовал его, как «узвышэней» «узвышэнца», т.е. вспоминал наш старый «узвышэнскі» стиль. Жена Кушцэвіча обещала сообщить нам о своём проезде через Киров обратно, чтобы снова повидаться с нами (чего, впрочем, не выполнила), и на этом мы все с ней и расстались...

Чем, как не поддержкой старых связей (связей, по сути дела, организационного характера), как не проявлением солидарности националистов и поддержки друг друга, была эта встреча и, в частности, моё участие в ней...

Подходил срок окончания ссылки. Освободился Кіпель, правда, с некоторой проволочкой, которой, впрочем, никто не придал значения, за ним – Гурскі, Гарэцкі... Вызывали для бесед Міцкевіча, Тараймовіча, Аніхойскага (никто из них ни звуком не обмолвился о

содержании этих бесед, и в этом уже мы почувствовали что-то неладное). Наконец вызвали меня, Бабарэку, Багдановича...

И объявили продление срока на два года...

Это было так неожиданно, так неожиданно для нас, что мы были прямо ошеломлены и не могли ничего сказать ни объявившему нам товарищу, ни друг другу... Помнится, что, выйдя из НКВД и узнав о таком же сообщении, сделанном Адаму, я только сказал ему, что нужно сейчас сходить к Гарэцкаму, который просил нас зайти к нему и сообщить результаты предполагавшейся всеми нами беседы, да не забыть купить хлеба, которого у нас нет...

Молча мы шли, ни о чём не думая (по крайней мере, я, да это же было видно и по Адаму)... Встретивший нас по дороге Гарэцкі никак не хотел поверить нашему сообщению, предполагая щутку с нашей стороны... Но наш вид, должно быть, быстро убедил его, что мы не шутим...

И он, и жена утешали нас, как могли, советовали апеллировать, обнадёживали, что и нас освободят вскоре. Гарэцкі говорил, что ему очень неловко быть освобождённым при нашей судьбе: он не видел никакой разницы между собой и нами... Ошеломляющее впечатление от добавки нам срока было у всех и у нас, в том числе, потому что никто, и мы сами, не видели никакой разницы между нами и освобождёнными... Без сна и почти без разговоров провели мы ту ночь, освещаемые молниями как раз разразившейся сильной грозы.

Перебирая в памяти возможные причины нового наказания, я находил одну, известную только мне и неизвестную Адаму, — мою поездку в Вятку когда-то, о которой я уже писал выше. Но ни теперь, ни потом вообще не сказал ему об этом. «Хоть расшибись в лепёшку, а не докажешь своей невиновности. Что ж, будем продолжать попрежнему быть советскими людьми. Какой у нас другой выход?» — резюмировал свои мысли Адам. Я с ним и соглашался и не соглашался. Может быть, всё-таки можно что-нибудь доказать. И я решил последовать совету Гарэцкага — апеллировать. Ничего не ответил мне тогда Адам...

А назавтра исчез Аніхоўскі... Об этом сообщила, прибежав к нам, его жена, встревоженная и взволнованная. Мы не могли ничего понять и считали это несерёзным (я, например, думал, что он получил освобождение и на радостях запирал со своими приятелями — собутыльниками по пивзаводу, — так я и говорил после её ухода Адаму и другим). Аніхоўская же была уверена, что с ним случилось что-то нехорошее. Накануне его вызвали, беседовали, и он пришёл домой в угнетённом состоянии духа, но о содержании беседы не

сказал жене ни слова. «Вот увидите, что ему будет хуже, чем вам. Пусть бы уж хотя как вам», — твердила она.

Все, кто узнавал эту новость, недоумевали. Кто-то — или Азбукін, или Улашчык — высказал предположение, что Аніхоўскі получил освобождение, взял бумажку в другой город и сбежал от жены, с которой у него иногда бывали нелады на почве его пьянства последнего времени.

Наконец выяснилось, что Аніхоўскі арестован. Первым из этого сделал вывод Улашчык. «Вероятно, ему вспомнили то, что когда-то меня обнаружили у него на квартире в Слободском», — высказал он свою мысль, подтверждая этим косвенно и мои предположения о причинах полученной мною добавки. Его объяснение было принято всеми и, вероятно, разделяется всеми и по сей день.

Недолго думая, Улашчык взял расчёт на работе (между прочим, довольно приличной с материальной стороны и с трудом им полученной), не успел даже получить облигации и взносы в кассе взаимопомощи, оставил мне доверенность на предмет их получения (которую я, впрочем, тут же потерял по своей рассеянности в те дни, вызванной неожиданным продолжением моего срока), и уехал в Горький. Провожали его на вокзал я и Азбукін, выразили надежду встретиться ещё когда-нибудь, он просил никому не сообщать о том, куда он уехал, что я и выполнял до сих пор.

Позже Улашчык прислал мне две открытки из Ново-Вознесенска, я ответил ему на первую, но из второй было видно, что он моего ответа не получил. Ответил и на вторую (о чём писал уже в своём месте), но ответа от него до сих пор не получил. Он писал, что работает в техникуме, но в каком и какой предмет ведёт, не писал, упоминая только, что работает много. Сообщал, что в Иванове есть наши, все освобождённые, но называл фамилию только одного Зяньковича (об этом я писал уже тоже). Спрашивал про Аніхоўскую, я ответил, что попрежнему сидит.

Аніхоўскую я встречал несколько раз позже. Вначале она довольно часто заходила к нам, а потом я встретил её на улице и в комендатуре НКВД, куда ходил на регистрацию, а она с передачами. Нового она мне ничего не говорила, вкратце только передавая о двух свиданиях, бывших у неё с мужем. Печалилась по поводу его неважного и физического и морального состояния. Я неизменно, конечно, выражал своё сочувствие.

Но вернусь к хронологическому течению событий.

Мне нужно было сообщить домой о своей новости. Сделать это прямо я боялся, особенно имея в виду впечатление, которое известие могло произвести на мою старуху-мать, уже ожидавшую

меня с нетерпением. Поэтому я попросил сделать это ехавшего в Минск Чарнушэвіча, что тот и исполнил.

Родители писали, что приняли это известие спокойно, уверены в моей невиновности и советуют не унывать. Советовали также апеллировать, и отец даже прислал проект заявления тов. Вышинскому, составленный им после совета с юристами. Этот проект я читал и Бабарэку, и Багдановичу – он им понравился, и они даже полагали по его образцу писать и свои заявления. Я написал родителям, что проект мне нравится, и только вносил в него мелкие фактические поправки. Я даже начал переписывать его, но тут-то в нём и разочаровался. Составлен он был формально-юридически хорошо, но был по существу недостаточным – включал в себя некоторые попытки оправдаться и не содержал в себе решительного разрыва с прошлым и осуждения его по всем линиям, необходимость которого я чувствовал. Но, с одной стороны, нужно было время, чтобы всё это обдумать и, с другой стороны, нужно было время, чтобы набраться духу, решимости и мужества... Поэтому, чтобы не огорчать родителей, я написал им, будто бы отослал заявление, отложив на самом деле это до зимних каникул, когда время будет (только события последних дней ускорили составление заявления, хотя оно пока и приняло форму этой рукописи).

Адам пробовал писать заявление, исходя из идеи проекта моих родителей, но говорил, что у него ничего не получается. Позже, получив от Дубоўкі известие, что подобное заявление, поданное им, оставлено без последствий, он решил бросить это дело, особенно когда ещё и я получил сообщение о подобных же результатах от Кіцеля. Он был освобождён, получил паспорт и стал уже «задирать нос», что называется, особенно когда мы получили «добавку». Он даже заметил, что, видно, за мной что-то есть, раз мне добавили, – ведь вот освободили же его. Однако вскоре после нашей «добавки» он также получил запрещение проживать в режимных городах и БССР сроком на три года. Это его так ошеломило, что, прибежав ко мне, он всё повторял: «Что же это такое, братцы?». Я только воздержался, но имел сильное искушение сказать, что, видно, и за ним теперь что-то нашлось. Однако я только утешил его, что ему попало меньше, чем нам, чем тоже почти привёл в бешенство. Он выбрал Орёл и уехал туда. Оттуда писал, что подал заявление прокурору, главным аргументом которого было, что государство от его, Кіцеля, наказания не выигрывает (виolate в духе Кіцеля). Спрашивал про Аніхоўскую и других наших, что мне известно, – я ему сообщил всё, что знал.

Ну, остаётся описать последнее время. Центром его являются события в Ирбите.

Моя переписка с Калюгам, начатая в Глазове, продолжалась и в Кирове. Правда, с моей стороны она была менее регулярной, так как я чувствовал своё ложное положение в ней, описанное уже выше мною. Поэтому я старался отвечать больше открытками и только после «праборак» за лень, которые получал от своего корреспондента. А он был неутомимым. В письмах он начал слать мне своё новое произведение «Пустадомкі». Начало его очень понравилось и мне и Адаму. Ценно было то, что Лукаш оценивал всех, выброшенных за последние годы из Белоруссии (нацдемов и кулаков), не в гордом ореоле «изгнанников», как это часто делали мы сами, а как обыкновенных «пустадомкаў», пустых и ненужных людей. В этом было известное мужество самокритики, и это сразу нам понравилось. Однако с течением повести автор всё больше и больше начинал проникаться сочувствием к своим героям и под конец её стал выражать это сочувствие уже более явно. И я и Адам рассматривали это, как срыв и как ошибочную тенденцию вообще. Надо было сказать об этом автору. И я и Адам принимались несколько раз за писание такой критики, но никак не могли найти подходящую форму, которая, с одной стороны, не задела бы автора и не отбила бы у него охоту писать вообще, а, с другой стороны, достигла бы желаемой нами цели. Так мы всё и кормили его обещанием этой критики, но и по сей день не сдержали обещание (опять-таки интеллигентская мягкотелость и стеснительность вместо решительной критики проявления враждебной идеологии). Однажды как-то Лукаш попросил меня прислать ему «Тэстамэнт» – предсмертное стихотворение покойного Ул.Жылкі, умершего в ссылке в Уржуме. Чтобы чем-нибудь отплатить ему за присылаемые произведения, я попросил текст «Тэстамэнта» у Кічеля, у которого он был в переписанном виде, так как очень ему нравился, переписал его и послал. Когда-то «Тэстамэнт» был и у меня, с ним меня своевременно познакомил Адам Бабарэка, на которого он произвёл сильное впечатление (жена Адама даже плакала), но у меня он не сохранился.

Нужно сказать несколько слов об этом произведении и его авторе в добавок к сказанному уже в своём месте. В жизни Жылка был очень симпатичным, мягким до женственности, высокообразованным, глубоко интеллигентным и деликатным человеком. Естественно, что смерть его произвела на всех нас, и на меня в том числе, тяжёлое впечатление: я тогда считал его, как и всех нас, невинной жертвой... Незадолго перед смертью он получил

разрешение свободно проживать по Союзу, кроме столиц и БССР. Этому мы все обрадовались, хотели даже ему помочь, чтобы он, больной туберкулёзом, поехал на юг, но было уже поздно.

В своём «Тэстамэнце», написанном художественно довольно сильно (во всяком случае, сильнее всего, написанного Жылкам, поэтом больше от литературы, чем от природного таланта), поэт, чувствуя свою близкую смерть, завещал свою наибольшую ценность – Родину-Беларусь – белорусским рабочим и крестьянам. Однако в выражении чрезмерной любви к своей родине чувствовался явно националистический оттенок.

Посылая «Тэстамэнт» Лукашу, я не преминул выразить как своё глубокое сожаление по поводу смерти поэта, так и восхищение его произведением, причём сделал это в резких националистических тонах, в чём не могу не видеть ещё одного из тех рецидивов своей националистической психологии, о которых я уже не раз писал выше. И вот недавно я получил сообщение Сяледчыка о том, что Лукаш арестован, а несколько позже – что его обвиняют в распространении этого самого, когда-то посланного ему мной «Тэстамэнта»...

С Сяледчыкам я до сих пор переписывался мало. Выше я уже характеризовал его. Его народничество, теперь ещё усилившееся, не привлекало меня к нему (да и трудно было писать письма двум лицам в одно место, читавшим их всегда, как я знал, сообща). За это не раз Сяледчык, очень обидчивый по натуре своей человек, на меня обижался и дулся, и я не раз просил у него извинения, не желая всё-таки окончательно оттолкнуть его, высказав моё действительное отношение к нему (опять та же, не раз уже отмечавшаяся мною, черта моей мягкотелости в отношениях к людям)...

А здесь Сяледчык оставался один, к тому же без работы, да и под впечатлением ареста Лукаша, и не мог не вызвать моего «сердобольного» сочувствия к себе... Я советовал ему не унывать, надеяться на лучшее, но ожидать худшего. Сказать прямо, что Лукаш арестован не зря (как думал Сяледчык, надеявшийся на скорое освобождение Лукаша), как я и думал, я не решился, осторожно выражая Сяледчыку своё отношение к его мнению о причинах ареста. Он полагал, что виноват здесь донос Астройкі, или «сьмярдзеля», как его называли (термин, соответствующий вышеупомянутому «сачкаму»). Я же говорил, что причины здесь должны быть глубже – в установке, рассматривающей нас всех как врагов общества. Всякий донос может действовать только тогда, когда тот, на кого доносят, уже и подозреваем и изучен с точки зрения такой установки, и, таким образом, донос может только оформить или форсировать проведение того, необходимость чего уже известна и без доноса.

Оглядываясь на свой путь, я хорошо знал, что НКВД действует всегда наверняка, хотя сразу, может быть, мы и не осознаём этого, что оно действует не только хирургически, но и профилактически, не совсем прямо, как здесь, а больше намёками, и высказал это всё Сяледчыку, не советую надеяться на скорое освобождение Лукаша и на его действительную невиновность.

Кроме того, сопоставляя два известных мне факта: арест Аніхоўскага здесь и Калюгі в Ирбите, я видел, что линии их могут пересечься на мне – ведь и с тем и с другим я был связан одновременно: с одним встречался в Кирове, с другим вёл переписку. И чувствовал это и высказал также свои опасения Сяледчыку. Ведь объективно говоря, то, что я сообщал иногда Аніхоўскому сведения о житьё-бытье Калюгі, а Калюгу об аресте Аніхоўскага и его сидении, и есть ничто иное, как типичное для всякой организации информирование друг о друге, удерживание друг друга в общем поле зрения. То, что здесь не было намеренной организованности, а лишь простая личная связь в положении всех час как ссылочных по одному делу, с объективной точки зрения ничего не меняет. Я готов нести ту долю ответственности, которая здесь на меня падает.

Арест Калюгі, вероятно, озубил Сяледчыка. Во всяком случае, в своей последней открытке он намёком сравнивает политику советской власти с ошибочной колониальной политикой Николая I, что свидетельствует о крайнем обострении его националистических настроений. На эту открытку я не ответил и отвечать не стану, прекращая всякую связь как с Сяледчыкам, так и с другими своими бывшими соратниками (употребляя это слово объективно).

V

Надо подвести всему итоги.

Воспитание в белорусской националистической школе, при условии мелкобуржуазного социального происхождения, заложило во мне прочные основы буржуазно-националистической психологии и идеологии. Влияние буржуазно-националистического литературного окружения вызвало на этих основах ряд литературно-политических выступлений – как устных, так и печатных и письменных, –шедших вразрез с национальной политикой партии, имевших характер организованного противодействия проведению этой политики, определённый объективный контрреволюционный национал-демократический характер.

За это я был подвергнут аресту, следствию и последовавшей за ними ссылке, продолжающейся до сих пор.

За время следствия я не был последовательным, решительным и, главное, до конца искренним в осознании и признании ошибочности и вредности своих убеждений и действий, признавал ошибочность только отдельных положений, да и то с оговорками, с попытками всячески оправдаться и извернуться, не задев при этом влиявших на меня и бывших мне близкими по работе и жизни своих тогдашних друзей.

Во время же следствия и последовавшей за ним ссылки я завязал ряд прочных связей с людьми того же типа, преследовавшимися властью за то же, за что и я, вёл с ними оживлённую переписку, обменивался мнениями и сведениями о судьбе, положении, настроениях, поддерживал морально, не делая попыток разубедить их во вредности нашего положения и убедить в правильности отношения к нам, не бывши последовательным и решительным в появлявшихся иногда намерениях такого порядка. Иначе говоря, поддерживая старые связи и даже расширяя их круг за чисто литературные пределы, я поддерживал объективно организационное единство, продолжавшее и углублявшее ту же контрреволюционную национал-демократическую линию.

Осознание некоторых событий международного порядка (в особенности – угрожающего для человеческой культуры и мирного существования зверино-националистического германского фашизма), глубокое освоение научных основ марксизма-ленинизма и базирующейся на нём национальной политики партии приводило меня постепенно от попыток модернизировать, подновить прежнюю свою идеологию к глубокому и основательному пересмотру её и переходу на идеологические позиции победоносно строящего социализм пролетариата дружной семьи народов СССР. Однако вся эта работа так и осталась при мне, не выйдя за пределы личного моего сознания, уживаясь с поддержанием прежнего порядка жизни и прежних связей, неоднократно сталкивавших меня на старые, осуждённые мною перед самим собой позиции. Честная ударная работа на педагогическом фронте, втягивавшая меня и включавшая психологически в возрождающий и обновляющий процесс великого социалистического строительства, также уживалась с неискоренёнными мною решительно остатками буржуазно-националистической психологии, крепко продолжавшими сидеть во мне и неоднократно вызывавшими рецидивы старого и в идеологии.

Отдельные попытки решительного разрыва со старым и в идеологическом, и в психологическом отношении, приводившие меня иногда к правильным и мужественным действиям, оставались незакреплёнными и изолированными, не перерастали в систему

поведения, растворялись и замазывались интеллигентской мягкотелостью – «сердобольностью», либерализмом в отношении к старым друзьям и личным связям с ними.

Неоднократные предупреждения мне со стороны власти в виде критики, ареста, ссылки и её продления, хотя несколько и раскачивали меня на некоторое время, но не привели к переходу количества вызываемых ими сдвигов в новое качество. Только последнее предупреждение – запрещение мне моей любимой педагогической работы, ставшей за эти годы подлинным моим существом, пополнила собой до отказа количество этих предупреждений, заставляет меня решительно перейти к новому качеству – качеству мужественного, до конца последовательного и до конца искреннего, бесповоротного и окончательного разрыва с тяжёлым моим прошлым.

Признавая контрреволюционный буржуазный характер бывшей своей национал-демократической идеологии и психологии, направленной в обратную сторону исторического процесса, тянувшей в сторону средневекового мракобесия, всеобщей ненависти, войны всех против всех и вольчего отношения человека к человеку (как это показывает пример германского националистического фашизма с его средневековым аутодафе, уничтожением культуры, сумасшествием «арийских параграфов» – пример, под влиянием которого и сам национал-демократизм отчётливо перерастает в национал-фашизм), я решительно осуждаю её, навсегда от неё отказываюсь и объявляю жесточайшую борьбу со всеми мельчайшими её остатками, которые только ещё могут где-нибудь во мне завалиться.

Признавая глубочайшую научную обоснованность и правильность Ленинско-Сталинской национальной политики, ведущей к мирному сожительству, культурной взаимопомощи, сближению и великой дружбе народов, весёлой и радостной и счастливой жизни, политики, идущей по ходу исторического прогресса, я безоговорочно отдаю себя до конца на службу ей всеми своими возможностями и силами, отдаю себя под мудрое руководство партии и вождя всего человечества – великого, гениального товарища Сталина.

Признавая объективно-организационный, направленный контрреволюционно, характер имевшихся у меня связей и переписки, нередко тянувших и самого меня в сторону и назад, я осуждаю категорически такую линию своего поведения, разрываю навсегда все бывшие у меня связи и прекращаю всякую переписку с людьми, бывшими в одном со мною контрреволюционном националистическом лагере и одинаково справедливо преследуемыми советской властью.

Признавая крупнейшим дефектом своей психологии свойственную ей до сих пор интеллигентскую мягкотелость, «сердобольность», гнилой либерализм по отношению к личным друзьям, боясь их «плохого мнения» о себе, я решительно принимаюсь за выкорчёвывание их у себя и твёрдо намечаю дальнейшую мужественную до конца линию поведения, обеспечивающую единство идеологии и психологии, не допускающую разрыва их, приводящего всегда к ложным положениям, двурушничеству, криводушию, объективной службе и помощи врагам.

Полюбив всей душой за это время педагогическую работу, сделав её своим подлинным существом, без которого я не мыслю себе своего существования, в котором я перерождаюсь психологически, и приношу свою дань социалистическому строительству и возможную от меня пользу обществу (об этой моей работе достаточно говорят и прилагаемые мною отзывы глазовских педагогических учебных заведений, в которых я работал, а также могут сказать и отзывы школы №1, где я работал в Кирове, отзывы инспектора горено тов. Шабалина, посетившего мои уроки и ставившего их в пример на собрании заведующих учебной частью и старших учителей всего города, а также посещавших по его рекомендации мои уроки преподавателей и, наконец, самих учеников, у которых я пользовался всегда большой любовью и которые, конечно, не представляют совсем моего настоящего социального положения), я обещаю на этой работе, если только она будет мне снова разрешена, дать такие же высокие образцы её, какие даются в промышленности и сельском хозяйстве стахановцами, и этим окончательно доказать свою преданность моей стране, народу и вождю.

На этом и поставлю последнюю точку.

20-26 декабря 1935 года

Ант.Адамовіч

город Киров

Заўвага рэдактара: аўтабіяграфія напісаная ў высылцы для органаў ГПУ з мэтай атрыманьня дазвол на пэдагагічную працу.